М. Я. ЛАРСОНС



В СОВЕТСКОМ ЛАБИРИНТЕ

ЭПИЗОДЫ И СИЛУЭТЫ

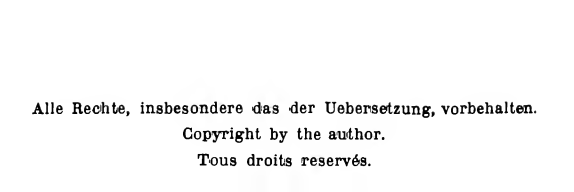
ИЗДАТЕЛЬСТВО „СТРЕЛА“

М. Я. ЛАРСОНС

В СОВЕТСКОМ ЛАБИРИНТЕ

ЭПИЗОДЫ И СИЛУЭТЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „СТРЕЛА“ / 1932



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Моя книга «На советской службе», вызвала живой отклик в европейской печати, так как она затронула вопросы, которые до сих пор были еще очень мало известны в Западной Европе. Об'ективность книги была признана всеми критиками без исключения, и даже коммунистическая печать не подвергла сомнению правдивости приведенных в книге фактов.

Зато критика неоднократно задавала вопрос, «кто же по духу своему этот человек, который преподносит общественности документы, столь важные для истории нашего времени».

Я готов ответить на этот вопрос.

Я родился в Курляндской губернии, которая теперь составляет часть Латвийской республики. Латвия моя родина в узком смысле, Россия — в широком смысле этого слова. Немецкий язык — мой родной язык, русский язык каждодневный обиходный язык. Германская и русская духовная культура являются основами моего миросозерцания.

Я был зрелым человеком, когда вспыхнула мартовская революция 1917 года. Первую революцию 1905 г. я переживал, как молодой человек, уже совершенно самостоятельный и сознательно относящийся к жизни.

С юных лет я примкнул с социал-демократическому движению и всегда и прежде всего стремился к

тому, чтобы жить свободным человеком в свободной стране среди свободных людей.

Закрепощение человечества, насильственное попирание человеческих прав, грубый деспотизм, мне всегда были глубоко ненавистны, независимо от того, проводятся-ли эти акты насилия под флагом восточного владычества, царского самодержавия или нынешнего русского большевизма.

Грубой насильственной политики я не признаю, безразлично от того, исходит-ли она слева, или справа. От насильников, которые кулаком подчиняют подвластных им людей своей воле и для достижения своих целей обрекают тысячи инакомыслящих на уничтожение и на смерть, я в восторг не прихожу.

В стране, которая управляется такими насильниками, я не могу ни дышать, ни жить, ни работать.

Человеческая жизнь для меня неприкосновенна, человеческие права — самое высшее, что есть на земле.

В первые годы после большевистской революции, когда у меня еще были иллюзии, когда я еще верил, что страшная диктатура, революционный террор только кратковременные явления, когда я еще считал, что Советская Россия разовьется постепенно до норм современного правового государства, я поступил на советскую службу и отдал свои силы восстановлению страны. Величие задачи, необозримое поле деятельности, потрясающее мир, несравнимое, грандиозное этой величайшей революции, весь могущественный пульс времени непреодолимо увлекали меня и заставляли меня, несмотря на ряд разочарований, все снова принимать участие в разрешении хозяйственных проблем страны. Чем больше и чем самостоятельнее была задача, тем более она притягивала меня. Я думал, что смогу доказать, что и не будучи коммунистом, можно делать в Советской России крупную работу.

Все эти стремления превратились в ничто перед голой действительностью.

Политическая система вправе требовать от государственных своих чиновников строгого исполнения обязанностей, неподкупности, лойяльности и энергии, но взамен всего этого им должна быть по крайней мере гарантирована защита их личности и абсолютная неприкосновенность их жизни. Этих гарантий в Советской России нет, даже для самых выдающихся русских специалистов, поскольку они не принадлежат к коммунистической партии, что бывает весьма редко.

Недостаточно написать на политическом знамени блестящие, сверкающие, вдохновляющие лозунги: все зависит от того, кто является носителем знамени, и принимаются ли действительно эти лозунги всерьез.

Политический режим, который именует себя «рабоче - крестьянским правительством», на самом деле же рабочих запрягает в дышло современных принудительных работ, а крестьянство принуждает к современным формам крепостничества; система, которая вполне сознательно попирает ногами свободу — это высшее идеальное и реальное благо человечества; система, которая дошла до такой чудовищности, что все население за исключением узкого круга коммунистической партии лишено всех прав и находится в полной зависимости от произвола единственной правящей партии; система, для которой и принципиально не существует лозунга: «Одинаковое право для всех» и которая сознательно считает закон и право лишь орудиями классовой борьбы; система, которая выбросила в кучу мусора буржуазную мораль, несомненно требующую коренного пересмотра, но создавшая в качестве новой морали лишь единственный принцип: «Для пользы коммунистической партии все средства хороши», подобная система не может ожидать, чтобы ее чудовищные теневые стороны

замалчивались, а выявлялись только ее светлые стороны.

Коммунистическая партия утверждает, что я не понял сущности того, что происходит в России, что я не вижу нового поколения, так как я не хочу его видеть. Это пустые слова. Я не чужак, которому далеки история и интересы России, я не «наемщик», который поехал в Россию для заработка. Я не немецкий архитектор, не американский инженер, не английский геолог, которые отправились в Советскую Россию, чтобы строить там дома, устанавливать машины и созидать фабрики или-же производить разведки и бурения, совершенно так-же, как они отправлялись-бы во всякую другую страну, в Персию, Суматру или Чили для того, чтобы там работать по своей специальности и расширить свои технические знания.

Я по другому отношусь к Советской России. Я видел открытыми глазами то, что было великого в русской революции, я содействовал восстановлению страны в своей области всеми силами, я нисколько не недооценивал пользы планового хозяйства и безусловно признавал фактические достижения советского правительства, в какой-бы области они ни совершались.

Нужно однако подчеркнуть, что все то, что было действительно сделано и достигнуто в Советской России в области хозяйственного и культурного строительства, все это было крикливо, по торгашески разглашено по всему свету и поднято до самых небес, как со стороны оффициальных советских учреждений, так и со стороны искренних и лживых, купленных и некупленных сторонников и агентов советской власти. У меня нет никаких оснований также присоединяться к этому хору. Наоборот, необходимо свести эти сильно раздутые успехи к их настоящим размерам. С другой стороны я не вижу основания для присоединения к тем слоям общества, которые, в совершенно понятном страхе перед ком-

мунизмом, заранее готовы отрицать за советским режимом всякую положительную сторону. Я ограничиваюсь тем, что предоставляю фактам говорить за себя.

То, что я предлагаю читателю в этой книге, это ряд эпизодов из моей жизни в Советской России, а также из моей советской службы за-границей. Эпизоды эти отвечают действительности. Я ничего не преувеличил, я не окрасил событий ни в темную, ни в светлую краску. Я отказался от всяких румян и белил.

Берлин, декабрь 1931 г.

К русскому изданию.

Предпосылаю моей настоящей книге, в качестве эпиграфа, характерныя изречения Карла Каутского, записанное в мою памятную книгу еще осенью 1919 года, а также слова, написанные им в конце мая 1931 года в ответ на запрос об опубликовании этого изречения.

Как и первая моя книга «На советской службе», и эта книга расчитана преимущественно на иностранного читателя, для коего и общеизвестные всякому русскому факты русской жизни и советской действительности являются новыми и интересными.

В качестве приложения здесь печатается впервые секретный циркуляр народного комиссара иностранных дел Георгия Чичерина от 11 ноября 1920 г., который, будучи принципиально совершенно правильным, все же звучит сегодня дикой пародией, если приложить его к действительному образу жизни советских дипломатов и представителей заграницей.

Автор.

Берлин, декабрь 1931 г.

Die Weltrevolution wird sich nicht
vollziehen auf dem Wege der Diktatur
nicht durch Kanonen und Maschinen,
gewehre, nicht durch Zerschmetterung
der politischen und sozialen Gegner,
sondern durch Demokratie und
Menschlichkeit.

Oktober 1919 Karl Kautsky

Перевод с немецкого:

Всемирная революция не совершится путем диктатуры, посредством пушек и пулеметов, посредством уничтожения политических и социальных противников, а путем демократии и человечности.

Карл Каутский.

Октябрь 1919 г.

29/5 931

Ich kann mich nur freuen, wenn Sie auf meine Worte vom Oktober 1919 irgendwie hinweisen. Mir ist jede Gelegenheit willkommen, auf die Verkehrtheit und Niedertracht des Bolschewismus hinzuweisen, der den schlimmsten Krebsschaden der heutigen Menschheit darstellt.

K. Kautsky

Перевод с немецкого:

29 мая 1931 г.

Я только буду рад, если Вы как-нибудь укажете на мои слова от октября 1919 г.

Я приветствую всякую возможность указывать на превратность и гнусность большевизма, который представляет собой злейшую язву современного человечества.

Карл Каутский.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Н. Н. КРЕСТИНСКИЙ.

Я знаю Николая Николаевича Крестинского — бывшего много лет советским послом в Берлине — с 1908 г.; я познакомился с ним в Петербургском Суде, где он выступал в качестве молодого адвоката.

Он буржуазного происхождения — сын инспектора гимназии в Вильне. Так-же, как и я, он принадлежал к группе политических защитников, т. е. к стоящим политически на левом фланге адвокатам, которые поставили своей задачей защиту в обыкновенных и военных судах всех тех, которые привлекались к суду за принадлежность к нелегальным социалистическим или революционным организациям.

В то время в России происходили грандиозные политические процессы, многочисленные обвиняемые должны были одновременно появляться перед судом, как представители определенной революционной организации или группы (напр. процесс социал-демократической организации в Кронштадте, мастерской бомб в Хаапале, Туккумского крестьянского восстания и пр.). В таких процессах принимало участие много защитников, которые вели дело солидарно, т. е. не старались сваливать вину с одного обвиняемого на другого, а стремились к тому, чтобы при защите одного обвиняемого по возможности не страдали интересы другого. Крестинский начал

свою деятельность в качестве молодого адвоката за год до меня, так что ко времени нашего с ним знакомства он уже имел за собой целый ряд политических защит. Мы встречались в суде, на процессах, ели вместе в ресторане суда и познакомились друг с другом ближе, но дружеских отношений между нами никогда не было. Даже между коллегами в то время не было принято расспрашивать друг-друга о политических взглядах или о принадлежности к той или иной нелегальной организации. Часто двое хороших знакомых принадлежали к той-же самой нелегальной организации без того, чтобы один знал об этом о другом.

Крестинский не был оратором, да и вообще ничем не выделялся в кругу своих коллег. Но он был добросовестным человеком — что гораздо важнее для защитника —, он всегда хорошо изучал дело и выступал в суде вполне подготовленным.

Он был исключительно честолюбив и стремился возместить отсутствие крупных выдающихся способностей трудолюбием, усидчивостью и знанием дела. «Большой человек на малые дела» — такова была характеристика, которую дал о нем один коллега.

Крестинский не был по своей натуре вождем. Наоборот, он сам нуждался в поддержке, его кругозор и интересы были ограничены. К тому еще он отличался нервным смехом, который часто находился в странном противоречии с предметом разговора и порой был поводом весьма нелестных суждений о нем. Но он был человеком скромным, охотно помогал другим, был всегда приветлив и поэтому в кругу коллег к нему относились хорошо.

Я скоро потерял Крестинского из виду, так как я по истечении полутора лет уехал из Петербурга, Крестинский же в то время переселился на Урал, в гор. Екатеринбург. Там Крестинский занимался адвокатской практикой, выступал со стороны рабочих в их процессах против горнопромышленников,

заводов и предпринимателей и вел их дела, касающиеся заработной платы, вознаграждения за увечье и т. п.

Я встрстился с Крестинским опять в Петербурге после большевистской революции приблизительно в конце декабря 1917 г. Я явился по поручению В. Евдокимова, председателя «Общества Шлиссельбуржцев», в Государственный банк в Петербург для того, чтобы получить для этого Общества около 12000 рублей по чеку. Это общество образовалось сейчас-же после мартовской революции 1917 г. и состояло из прежних революционеров, которые в свое время за политические преступления сидели долгие годы в одиночном заключении в Шлиссельбургской крепости.

Все петербургские банки были уже национализированы 14 декабря 1917 г. и в числе прочих мероприятий были также закрыты все текущие счета. Было разрешено брать с текущего счета не больше 1.000 рублей в месяц. Общество Шлиссельбуржцев было также затронуто этим распоряжением, как и все другие, и теперь старалось получить по чеку, для того, чтобы иметь возможность выдавать своим нуждающимся членам обычное месячное пособие.

Я отправился в Государственный банк, в указанную мне комнату. Это была комната средней величины, переполненная людьми, которые стояли в очереди перед столом в конце комнаты. За столом сидел молодой человек, который обслуживал посетителей. Это был, как я установил впоследствии, Г. Я. Сокольников, будущий долголетний комиссар финансов, и в настоящее время советский посол в Лондоне. Я обратился к нему, изложил ему сущность дела и просил разрешения на выплату по чеку. Сокольников отказал в выплате и заявил грубо, что в настоящее время нельзя знать, с кем имеешь дело, получат деньги под флагом Общества Шлиссельбуржцев, а потрачены они будут неизвестно на какие цели. Я ему возражал, уверял его,

что деньги эти предназначены исключительно для поддержки неимеющих средств бывших шлиссельбургских узников, но Сокольников заявил, что он меня не знает и разрешения мне не даст.

Я оглянулся кругом, ища поддержки, и к моей немалой радости увидел близорукого Крестинского, который сидел за маленьким столиком в другом углу комнаты, склонившись над бумагами. Я подошел к нему. После многих лет он сейчас-же меня узнал. Я об'яснил ему в чем дело и мы вместе отправились к Сокольникову. Крестинский сказал Сокольникову, что он меня знает и что он вполне уверен, что деньги действительно дойдут до Шлиссельбуржцев. После этого Сокольников дал разрешение, я получил в банке деньги и сейчас-же передал их председателю Общества.

Я несколько раз встречался в Государственном банке с Крестинским. Я был еще тогда директором торгового отдела Шуваловского Акционерного Общества, которое имело заводы и горные промысла на Урале; я должен был ежемесячно переводить туда около 5 миллионов рублей исключительно на заработную плату. Вследствие стачки банковских служащих, к которой примкнули и служащие Государственного банка, в то время царил страшный безпорядок во всех банковских операциях, в том числе, конечно, и при посылке переводов. Нужно было самым энергичным образом лично проводить каждую операцию, чтобы вообще чего-нибудь добиться.

Крестинский, который сам много лет прожил на Урале, помогал мне при переводе крупных сумм для наших рабочих, таким образом удавалось своевременно выплачивать деньги через отделение Государственного банка в Перми.

Хаос, который царил тогда в Государственном банке в Петербурге, был неописуем. Можно пожалуй действительно сказать, что в то время работали сами шкафы, скамейки, столы и стулья, так как из всего

банковского персонала являлись на службу лишь низшие служащие (артельщики, посыльные, прислуга и пр.). Все кассовые помещения, лестницы, которые вели с улицы в помещения колоссального здания государственного банка, а также длинные и широкие сводчатые корридоры, соединявшие помещения банка друг с другом, были осаждаемы крестьянами, рабочими, мещанами, ремесленниками, солдатами, матросами и т. д., ожидавшими выплаты. Как уже было упомянуто выше, каждый мог получать лишь тысячу рублей в месяц; фабрики же, мастерские, артели, полковые кассы, все государственные учреждения и пр., счета которых не были закрыты и кои должны были выплачивать по известным дням большие суммы, в виде заработной платы, должны были получать деньги из Государственного банка.

Происходили безумные сцены перед решетками касс, за которыми немногочисленные кассиры и артельщики по-истине героически исполняли свой долг. Некоторые стояли с ранняго утра до окончания занятий в банке, ожидая своей очереди. Многих просили придти на следующий день. Были и такие, которые пытались нарушить с большим трудом установленную очередь и под разными предлогами добиться выдачи не в очередь. Такое предпочтение вызывало, конечно, резкий протест у других, хотя-бы дело шло и об очень срочном платеже какому-либо государственному учреждению. В течение этих месяцев я часто бывал в Государственном банке для наблюдения за своевременным переводом денег в Пермь и довольно нагляделся таких сцен.

Однажды, в конце марта 1918 г., я находился у директора Государственного банка Пятакова*) и вел

*) Инженер Пятаков, который в течение ряда лет занимал самые высокие посты на государственной службе Советской России и в последнее время опять находился во главѣ Государственного банка, впал теперь у Сталина в немилость и лишен был в октябре 1930 г. своего места председателя Госбанка.

с ним переговоры относительно ликвидации стачки банковских служащих.

Вдруг мы услышали из корридора дикий крик. Дверь с шумом распахнулась и в комнату с криком ворвался, вместе с двумя другими, атлетически сложенный человек.

«Вы тов. Пятаков, директор Государственного банка?»

П. «Да, почему Вы кричите?»

Рабочий: «Почему мы кричим! Нас послали с Путиловского завода*), чтобы требовать от Вас получения денег для уплаты рабочим».

П.: «А я Вам говорю, прежде всего закройте дверь».

Рабочий: «Вы нас не запугаете, тов. Пятаков. Мы будем кричать, когда захотим, и Вы нам рта не закроете. Я спрашиваю Вас, когда Вы, наконец, деньги будете платить?»

П.: «А я Вам говорю, прежде всего закройте дверь».

Дверь захлопнулась с треском.

Рабочий: «Ну, когда мы получим наши деньги?»

П.: «Все идет своим порядком, я сейчас-же велю Ваше дело рассмотреть и сделаю все, чтобы Вы в самом скором времени получили деньги».

Рабочий: «Все это очень хорошо, тов. Пятаков. Мы посмотрим, сдержите-ли Вы на этот раз слово, но только я Вам говорю, если мы до завтрашнего утра денег не получим, я заявлюсь завтра сюда со всеми нашими ребятами, со всей нашей фабрикой, и тут мы Вам все переколотим, ничего не оставим в целости. Мы Вам покажем кто мы! Мы рабочие, работаем за станком, и мы не допустим, чтобы Вы из нас дураков строили. Зарубите себе это на носу».

Пятаков напрасно старался прервать рабочего и

---

*) Путиловский завод — очень крупный завод тяжелой индустрии в Петербурге, со многими тысячами рабочих.

перекричать его. Рабочий, однако, не дал прервать себя, пока он не выложил всего, что у него накопилось на сердце. Затем он вышел вместе с двумя своими товарищами и опять с треском захлопнул дверь за собою. Его спутники ничего не говорили и только одобрительно кивали головой.

Когда они вышли, Пятаков взволнованно сказал:

«Извольте при таких обстоятельствах работать! Разве это возможно? Мыслимо-ли это, что такие грубости вам говорили прямо в лицо? Но такие сцены прекратятся немедленно, как только банковские служащие будут опять на местах, когда стачка закончится, когда мы опять будем в состоянии проводить все операции в порядке!»

Весной 1918 г., в бытность Крестинского комиссаром юстиции в Петербурге, я говорил с ним в первый раз о последовавшей казни политических противников. Террор тогда лишь только начинался. Крестинский оправдывался наивным замечанием, что он лично не подписал и не подтвердил ни одного смертного приговора. Он был в то время, очевидно, противником террора и не пытался даже защищать его обычными утверждениями о политической необходимости террора в целях удержания и дальнейшего укрепления власти коммунистической партии. В частном разговоре со мной, он все еще был прежним юристом и защитником, который не считал себя вправе распоряжаться человеческой жизнью по своему усмотрению. Позднее, в январе 1919 г. — очевидно во второй половине января, так как в окнах больших книжных магазинов были выставлены портреты убитых за несколько дней до того, 15 янв. 1919 г., Карла Либкнехта и Розы Люксембург, — я имел еще раз случай говорить с Крестинским о политических событиях. Я должен был в тот вечер ехать с ним вместе из Москвы в Петербург и заехал за ним в прежнюю гостиницу «Националь», где он занимал

с женой две комнаты. Крестинский жил скромно, но по тем временам неплохо. Он предложил мне, как только я вошел к нему в комнату, чай, сахар, хлеб, масло и колбасу, продукты, в которых все нуждались.

По дороге к вокзалу мы заговорили о политическом положении и я откровенно высказал ему свое негодование по поводу бесчисленных совершенных Чекой политических убийств. Я спросил Крестинского, как долго это будет продолжаться, и имеет-ли советское правительство намерение совершенно уничтожить всю буржуазию, независимо от того, участвовало ли данное лицо активно в борьбе с советским режимом или же, не интересуясь политикой, ведет образ жизни мирного обывателя. Крестинский категорически протестовал против подобного предположения и ответил, что Чека состоит не из убийц, а из политически - убежденных коммунистов, которые исключительно против тех ведут беспощадную борьбу, кто становится на пути советской власти. Никто не думает о том, чтобы преследовать буржуазию или ее, как таковую, уничтожать. Все это сказки, распространяемые врагами советского строя.

Я заговорил с ним об излюбленном методе Чеки арестовывать совершенно невинных и стоящих в стороне от политической борьбы людей, бросать их в тюрьмы и держать их там в качестве заложников, обреченных на смерть в случае убийства какого-либо коммуниста. Я сказал, что для этой подлой системы заложничества не существует никакого оправдания ни с точки зрения государственного смысла, ни с точки зрения запугивания, и подчеркнул, что с помощью этого страшного террора нельзя устранить политических убийств коммунистических вождей. Как раз наоборот, красный террор может вызвать только ответную волну террора с другой стороны. Крестинский возразил, что теперешний террор — тяжкая необходимость и представляет собой короткую, преходящую фазу большевистской револю-

ции. Необходимо всеми средствами сломить громадное сопротивление для того, чтобы советское правительство, по низложении всех своих врагов, могло наконец приступить в выполнению своей положительной программы.

Мы говорили совершенно откровенно, так как Крестинского я не боялся. Наоборот, я считал своим долгом высказать свое возмущение видному члену советского правительства относительно современного положения вещей, возмущение, разделяемое всей страной. Возражения Крестинского не могли меня убедить. Тон, в котором они высказывались, не производил на меня впечатления, что Крестинский сам одобрял эти чудовищные факты. Наоборот, его возражения мне казались лишь оффициальной защитой коммунистической тактики борьбы того времени.

Между тем мы доехали до вокзала. Крестинский ехал в Петербург в великолепном вагоне, бывшем салон - вагоне Шипова, директора Государственного банка до революции. Кроме меня и Крестинского был еще третий с нами, уполномоченный Уральской области, тов. Сыромолотов. Сыромолотов был личным другом Крестинского, значительно старше его, ему тогда по меньшей мере было 50 лет. Мы сидели в вагоне, в прекрасно устроенном салоне и беседовали. Крестинский познакомил меня с Сыромолотовым, и разговор перешел на Урал. Я сказал Сыромолотову, что я в течение последних лет работал в правлении крупных Уральских горнопромышленных акционерных обществ, а именно до 1915 г. в Обществе Сысертского Горного Округа, а затем до революции в Обществе Лысьвенского Горного Округа (т. н. Шуваловском Обществе). Я сказал ему также, что я несколько раз бывал в Екатеринбурге и на горных промыслах, и между прочим осведомился о некоторых людях, с которыми познакомился на Урале, между прочим о некоем Александре Михайловиче Мокроносове.

Мокроносов был Главноуправляющий Сысертско-

го Горного Округа и жил постоянно в Екатеринбурге. Горные промысла находились от Екатеринбурга на расстоянии нескольких часов езды по железной дороге. Мокроносов был человек лет 60-ти, крестьянин родом из деревни Сысерть, отец которого служил еще в качестве крепостного (т. н. поссессионно - обязанного) на Сысертских заводах. Мокроносов не получил никакого образования и едва умел правильно читать и писать по русски. Но он был человек железной трудоспособности, работал с 12-ти лет в лесах и на заводах Сысертского Горного Округа и в конце - концов добился положения Управляющаго Округом.

Я спросил Сыромолотова, как поживает Мокроносов?

«Мокроносов? Что ж, он весь вышел!»

В первый момент я не понял, что он хотел этим сказать, и пристально посмотрел на него.

Тогда Сыромолотов резко добавил:

«Мокроносов расстрелян в числе других девятнадцати заложников, которых мы взяли в Екатеринбурге. Что, жалко Вам его? Он был самый отчаянный кулак, которого можно только себе представить».

Я ему ответил:

«Конечно, мне жалко его, как человека, так как я не понимаю, как можно расстреливать людей, как заложников».

Сыромолотов ответил легким смешком:

«На войне, как на войне, а мы сейчас на войне».

Я замолк и предался своим размышлениям. Крестинский также молчал. Было-бы бесцельно затевать с тов. Сыромолотовым политический спор о ценности человеческой жизни и об убийстве заложников.

После моего от'езда из России 2 марта 1919 г. я встретился с Крестинским лишь в конце мая 1921 г. Крестинский приехал в Берлин, чтобы посоветоваться относительно своей все усиливающейся близорукости и слабости зрения с выдающимся немецким глазным врачем. Я был с ним несколько раз у врача

в Берлине, а затем навещал его в Киссингене, где он лечился в санатории.

Я подробно рассказал Крестинскому обо всем мной пережитом со времени моего от'езда из России, о моем пребывании в Швеции в качестве заместителя главноуполномоченного Русской Железнодорожной Миссии в Стокгольме. Крестинский слушал всегда очень внимательно и интересовался каждой деталью.

Крестинский издавна отличался необыкновенной памятью на цифры и факты, относящиеся, как к политической жизни, так в особенности ко всем событиям из жизни окружающих его людей. Крестинского многие считают живым архивом коммунистической партии. В качестве Генерального Секретаря коммунистической партии он знал биографию каждого сколько-нибудь заметного коммуниста, даже из самой отдаленной губернии.

Гуляя с ним по Киссингену, мы прошли однажды мимо сапожного магазина. Крестинский зашел туда и попросил башмаки для своей двухлетней дочки. В маленьком магазине были башмаки для двухлетних, трех - четырехлетних и детей более старшего возраста. Когда мы вышли, я сказал ему:

«Вас не удивляет, что в маленьком баварском городке, в простом башмачном магазине, через $2\frac{1}{2}$ года по окончании войны можно найти башмаки для детей всякого возраста, а в Москве нет башмаков даже и для взрослых? Не наводит-ли это обстоятельство Вас на размышления? Находите-ли Вы действительно рациональным совершенное запрещение внутренней частной торговли, даже розничной, которая охватывает только незначительные интересы? Считаете-ли Вы необходимым, чтобы детские башмаки, игрушки, масло и колбаса продавались только в лавках государственных организаций?»

Крестинский улыбался и молчал.

Одевался в то время Крестинский очень скромно. Как бывший русский адвокат, Крестинский привык

носить в суде фрак, который в прежней России заменял адвокатскую мантию. Во время «военного коммунизма», когда котелок, воротник и обычное гражданское платье вызывали всяческое издевательство, Крестинский, как и многие другие, совершенно изменил свой внешний вид.

Присутствуя на одном политическом собрании, имевшем место в декабре 1919 г. в Москве в зале бывшего Благородного Собрания, я увидел Крестинского за столом в качестве члена президиума в плоском картузе и бесформенном пальто. Во время его пребывания в Берлине, в конце мая 1921 г., я сопровождал Крестинского и комиссара продовольствия Цурюпу в известный магазин готового платья, предназначенный для широкой публики, где они купили себе готовые, дешевые костюмы из простого материала. Когда я им посоветовал купить что-нибудь получше и сделать себе костюмы на заказ, Цурюпа сказал смеясь: «Для Москвы это достаточно хорошо, для Москвы это даже слишком хорошо».

В дальнейшем впрочем Крестинский совершенно отказался от этой непритязательности. Он был, начиная с конца 1921 г. до осени 1930 г. т. е. почти 9 лет, советским послом в Берлине и должен был, как дипломат, так же как и в других отношениях, и в смысле внешняго вида и одежды, подчиниться тем нравам и обычаям, которые господствуют в дипломатических кругах. Крестинский наверное бы от души посмеялся, если-бы кто-нибудь поздним летом 1921 г., когда баварская полиция выслала его из пределов Баварии, предсказал ему, что он во фраке, цилиндре и лакированных ботинках, на гладком паркете салона, в обществе, отнюдь не настроенном на коммунистический лад, будет расточать любезности и вести салонные разговоры, а что его жена в качестве doyenne*) на торжественном приеме будет шество-

*) Жена старшины дипломатического корпуса.

вать под руку с президентом германской республики.

Крестинский был тогда еще, по своему существу и внутреннему складу, коренным русаком. Он был генеральным секретарем коммунистической партии, народным комиссаром финансов и членом высшей партийной инстанции «Политбюро». Он искренне верил тогда в свое призвание и не имел в то время ни малейшего желания занимать место посла где-нибудь в Европе и стать таким образом политически - мертвым человеком для Советской России. Это уже потому не могло представлять для него никакого интереса, что он до своей поездки в Киссинген никогда заграницей не бывал, заграницей не учился и в то время не знал ни слова по немецки.

Едва-ли ему было также желательно, после кратковременного пребывания в скромном здании на Ноллендорфплац в Берлине, переселиться в качестве посла в роскошный дворец Унтер-ден-Линден 7 с его драгоценными шелковыми обоями, мебелью, обитой роскошной материей, тяжелыми портьерами, большими залами и парадными покоями. Весь этот дворец с громадными зеркальными окнами фасада находился в резком, кричащем, непримиримом противоречии с красным знаменем на флагштоке и с прежней непритязательностью самого Крестинского.

Но времена переменились. Циркуляр народного комиссара по иностранным делам Георгия Чичерина от 11 ноября 1920 г., согласно которому предписывалось «под угрозой суровой кары», всем заграничным представителям Совнаркома и Наркоминдела «вести простой спартанский образ жизни», для того чтобы они таковым могли доказать всему миру, что «Советское правительство является правительством рабочекрестьянским», был давно забыт и сметен жизнью, вместе со многими другими благочестивыми пожеланиями.

Сладкая отрава власти и роскоши действовала на Крестинского медленно, но верно. Дипломатическая

среда и светские обязанности в германской столице, одном из величайших городов мира, которые сводили его то с английским лордом, то с итальянским графом, то с афганским принцем, во многих отношениях подточили твердо-каменные, программные взгляды, привезенные им из Москвы, и отшлифовали его внешне и внутренне. Уже через несколько лет, когда мы с ним сидели друг против друга на роскошных креслах, в обитой бледнозелеными шелковыми обоями приемной комнате, Крестинский был уже не тот. Теперь, когда он после своего девятилетнего пребывания в Берлине должен вернуться в Москву в качестве заместителя комиссара по иностранным делам Литвинова, он привезет с собой, должно быть, чрезвычайно изменившиеся взгляды по поводу многих вещей, которые кажутся весьма простыми на печатных страницах коммунистического букваря, но оказываются весьма сложными при соприкосновении с суровой действительностью.

Крестинский за время своего пребывания в качестве посла изучил немецкий язык и завел многочисленные светские знакомства. Он бывал на всех приемах высшего общества и сам устраивал в посольском дворце балы и банкеты, роскошь и блеск которых заставляли о себе говорить. Эти балы посещались весьма охотно. Много людей в Берлине считали за особую честь получить приглашение на приемы в советское посольство.

И у скольких немцев и иностранцев, посещавших эти вечера, предназначенные во всяком случае не для пролетариата, мелькало в голове нечто в роде следующего: «Большевики совершенно такие-же люди, как мы, они едят, танцуют и одеваются также, как и мы. Они не только вежливы, они подобострастны, они предупреждают все наши желания. Должно быть, дело обстоит не так уже страшно со всеми этими жуткими Московскими россказнями».

А какой-нибудь облеченный во фрак большевик,

(который, может быть, за несколько дней до того прибыл из Москвы, который, может быть, приехал заграницу по делам службы вездесущей Г. П. У), посмеивался себе в бороду:

«Ах вы, дурачье, Вы успеете на своей шкуре пережить жуткие минуты, когда мы будем праздновать в Германии или Англии тамошнее седьмое ноября; тогда вы нас узнаете — по настоящему».

Не один безработный, проходивший случайно в такой вечер мимо освещенных окон посольского дворца, мог с горечью задавать себе вопрос, какое отношение имеют подобные празднества к пролетариату или к коммунизму.

Когда я прощался в июне 1921 г. в Киссингене с Крестинским, он предложил мне ответственный пост в комиссариате финансов в Москве. Я отказался. Но в конце 1922 г., я решился, под впечатлением «новой экономической политики», т. н. НЭП'а, ехать в Москву, дабы активно участвовать в восстановлении страны. В начале марта 1923 г., Крестинский сообщил мне, что комиссар финансов Сокольников предлагает мне место начальника валютного управления в Москве. Это предложение мной было принято.

Во время моего пребывания на службе валютного управления, в промежуток времени между 1923 и 1925 г.г., я всегда видался с Крестинским, когда я проезжал через Берлин. Я информировал его относительно своей деятельности и довольно откровенно говорил с ним о тех препятствиях, которые мне приходится преодолевать на службе.

Когда я совершенно неожиданно, 15 апреля 1925 г., в Берлине, получил телеграфный приказ прекратить служебную деятельность заграницей и немедленно вернуться в Москву, я 17-го апреля отправился к Крестинскому.

Крестинский был уже в курсе. Я изложил ему откровенно всю суть дела и заявил ему, что не могу ре-

шиться поехать в Москву на основании этого внезапного приказа. Крестинский возразил мне следующее:

«Когда Вы два с половиной года тому назад заявили мне, что Вы теперь согласны занять ответственный пост в России, Вы, без сомнения, надеялись на то, что Вы уживетесь в нашей атмосфере и по крайней мере в деловом отношении станете одним из наших. Из всего, что от Вас слышу, я вывожу заключение, что Вы, с тех пор, как вернулись из России, не только не приблизились к нам, но еще дальше ушли от нас.

Вы отправились в Россию, в известном смысле, как в чистилище. Уже по истечении четырех месяцев вы были опять здесь с деловым поручением. Затем Вы опять отправились в Россию. Вы снова пробыли там от трех до четырех месяцев, причем у Вас были неприятности с Г.П.У. Г.П.У. не хотело Вам выдавать разрешения на от'езд заграницу. Я случайно был в Москве. Вы мне позвонили по телефону в Кремль, помните? И я тогда уже Вам ответил, что я не могу вмешиваться в Ваши тамошние неприятности, что Вашим начальником является комиссар финансов Сокольников и что он должен уладить Ваше дело. Наконец, Вы вернулись из Москвы, но — в этом я убежден — с твердым намерением не возвращаться обратно.

Вам не удалось за время Вашего пребывания в России проникнуть в наши партийные круги и приобрести там доверие. Вы стояли особняком, Вы не смогли ужиться в нашей атмосфере, она Вам была не по душе, и Вас в Россию не тянет. Очень ясно чувствуется, что Вы только до тех пор хотите работать с нами, пока Ваша деятельность протекает заграницей. Вы не хотите ни жить, ни работать в России. Очевидно, здесь сыграли роль и Ваши семейные обстоятельства. Но самое важное это то, что наша ат-

мосфера Вам чужда, была чуждой и стала еще более чуждой».

Л.: «Я Вам отвечу откровенно. Это правда, что я не мог ужиться в советской атмосфере. Мое пребывание в Москве не сблизило меня с коммунистическими кругами. Совершенно верно, я стою особняком. Но если-бы в Москве считались с деловыми доводами, то то обстоятельство, что я остался чужд Вашей атмосфере, не сыграло-бы решительной роли. На советской службе работает неимоверное количество людей, которые бесконечно далеко стоят от советской атмосферы».

К. «Это верно. но это сравнительно все мелкие служащие. Вы же будучи полуиностранцем*) и занимая у нас важнейшие посты, должны и котироваться особо. Кроме того, мы нуждаемся в людях, которые принадлежали-бы нам всецело и которых мы моглибы по мере надобности перебрасывать с одного места на другое. Подобные люди могут при случае попасть также и заграницу, но они не могут нам предписывать, чтобы их деятельность протекала исключительно заграницей».

Л. «Как раз это условие мне не подходит. Я не могу позволить, чтобы меня бросали с одного места на другое, не спрашивая меня, исключительно по благоусмотрению управляющего личным составом валютного управлéия или комиссариата финансов. По подобному вопросу я должен иметь право сказать свое веское слово. Тем менее я позволю, чтобы меня без всякого основания и внезапно отзывали в Москву с моего поста заграницей, на котором я очень успешно выполнял свои обязанности».

К.: «Это Вы уже должны решить за себя. Единственное, что я могу Вам сказать, это следующее: если Вы теперь без всяких разговоров не вернетесь в Москву, а оставите советскую службу, то Вы к нам

*) Я латвийский гражданин.

снова никогда уже не поступите. Поэтому я должен предоставить решение Вам самому. Вы сами лучше всего можете судить, настолько-ли Вас интересует Ваша деятельность, чтобы Вы могли решиться на переселение в Москву».

Л. «Хорошо, это ясно. Я уже принял решение. Я приказу не подчинюсь. Я уже вчера телеграфировал комиссару финансов Сокольникову в Москву, что я вынужден отказаться от предложения валютного управления».

Наш разговор закончился очень холодно. 1-го мая 1925 г., я покинул советскую службу.

Между скромным адвокатом 1917 г., — которого волна большевистской революции и личные симпатии к нему Ленина, вознесли на высшие посты, на пост комиссара финансов, для коего, кроме абсолютной честности, у него не было и самых малейших качеств или опыта — и чрезвычайно самоуверенным дипломатом сегодняшнего дня лежит целая пропасть.

Во всяком случае Крестинский является ныне одной из наиболее видных личностей на советском горизонте. Это человек, который и теперь, может быть, еще верит в мировую миссию большевизма, но долгие годы, проведенные на посольской службе в Берлине, несомненно успели значительно его охладить в смысле приближения к реальной политике.

Теперь приходится выждать, как Крестинский уживется в Сталинской атмосфере, после того, как — выражаясь на советском жаргоне — его девять лет подтачивало «буржуазное разложение».

ГЛАВА ВТОРАЯ.

А. А. ИОФФЕ.

Я познакомился с Адольфом Иоффе — первым советским послом в Берлине, бывшим врачем — 11 апреля 1918 г., в гостиннице Астория в Петербурге, в то время, когда мне было сделано предложение поехать в Берлин в качестве советника советского посольства. По целому ряду причин я отказался от этого предложения*). Вновь назначенное посольство должно было со всем своим персоналом уже через три дня ехать в Берлин, а в составе посольства все еще не доставало несколько необходимых служащих, в особенности секретаря.

Я вспомнил, что в приемной, находящейся перед кабинетом управляющаго Государственным банком Пятакова, я видал молодого человека, который принимал посетителей, спрашивал их о цели прихода и направлял их либо к управляющему Государственным банком, либо в соответствующее отделение банка. Этот молодой человек появлялся на службе, правда, без воротника и в шерстяном свитере — что было вполне принято в то время — но у него было очень интеллигентное лицо, что мне сейчас-же бросилось в глаза; кроме того все его манеры и обращение наводили меня на мысль, что он видел когда-то лучшие

---

*) См. М. Я. Ларсонс «На советской службе», ст. 37.

времена. Я обратил внимание Иоффе на него и сказал, что по моему мнению он подходящий человек, если он говорит по немецки и если он получил приличное общее образование. Иоффе попросил меня с ним поговорить. Я был совершенно поражен, когда услышал, что тов. Якубович говорит на блестящем немецком языке. Он не был, правда, пролетарского происхождения, но он был коммунист и учился не то в Германии, не то в Швейцарии. Якубович, конечно, с радостью согласился переменить свое чрезвычайно скромное место на пост в Берлинском посольстве с его богатыми перспективами. Он сейчас-же обратился к Иоффе, который его, действительно, принял на службу в качестве второго секретаря, после того, как Якубович доставил удовлетворительную справку касательно своего партийно - политического прошлого. Якубович отправился со мной в мою петербургскую квартиру, чтобы взять с собой в Берлин мой фрак, который мне в Петербурге был совершенно бесполезен и которого я нигде не мог надеть. Якубович полагал, что члены посольства немедленно по прибытии в Берлин должны будут облечься во фраки, чтобы делать оффициальнные визиты, и опасался, что у него не будет времени шить себе фрак на заказ. Мой фрак, однако, не пришелся ему по фигуре и ему пришлось ехать в Берлин без фрака.

Я опять увиделся с Якубовичем, когда я появился 11 октября 1918 г. в Берлинском посольстве в качестве финансового эксперта с моим секретарем и бухгалтером. Якубович совершенно изменился. Он принял меня с ледяным достоинством в своей служебной комнате в посольстве и, очевидно, забыл о нашем кратком, но для него весьма многозначительном знакомстве в Петербурге.

Иоффе предоставил в мое распоряжение прекрасную служебную комнату, а также соответственную комнату для двух моих сотрудников. Однажды,

когда я сидел и работал, ко мне в комнату ворвался, не постучав предварительно, коренастый человек лет 45 с очень темными волосами и глазами; он прямо направился ко мне и сказал:

«Кто Вы такой, по какому праву Вы работаете за моим столом?»

Я в ответ:

«Кто Вы собственно, почему Вы так возбуждены?»

Он ответил:

«Я — генеральный консул в Гамбурге Соломон. Разве Вы не знаете, что это мой стол?»

Л. «Моя фамилия Л. Я финансовый эксперт при после Иоффе и могу Вас уверить, что я не имел ни малейшего представления, что это Ваш письменный стол. Никто мне ничего не говорил об этом. Мне просто - на - просто отвели это место. Само собой разумеется, что я сейчас-же освобожу Ваш стол. Эта комната велика, здесь стоит еще второй письменный стол».

Соломон сейчас-же изменил тон:

«Я, собственно, ничего против Вас не имею. Если Вы не знали, что это мой стол, то все в порядке. Оставайтесь за этим столом, я сяду за другой».

Впоследствии я узнал, что Соломон, который раньше работал в Берлинском посольстве, всячески стремился ввести порядок в бухгалтерию и делопроизводство посольства и этим, конечно, приобрел мало друзей.

В отношении денежных вопросов в посольстве царил, действительно, непростительный беспорядок. Однажды Иоффе нужны были деньги, и он попросил меня разменять ему крупную сумму в царских рублях на германские марки. Германская марка тогда еще высоко стояла. Английский фунт стерлингов стоил тогда, правда в частном обороте, около 35 марок. Я сказал Иоффе, что принятая в посольстве система размена царских рублей с помощью посредников

или же в мелких разменных конторах очень нецелесообразна. Обмен крупных сумм таким путем несомненно ведет к потерям. Я бы счел нужным обратиться непосредственно в один из крупных банков и предложить ему деньги для обмена. Иоффе в моем присутствии открыл денежный шкаф, вынул оттуда несколько перевязанных пачек с царскими сторублевками (в каждой пачке было 100 бумажек), передал мне пачки и сказал:

«Хорошо, будьте так любезны, обмените деньги. Поступайте, как Вы находите нужным».

Я конечно, собирался начать обычную процедуру счета денег и выдачи квитанции. Но Иоффе улыбнулся и сказал:

«Оставьте это, от Вас мне не нужно никаких квитанций, Вы в общем взяли 10 пачек, все остальное в порядке».

Когда я ему возразил, что может случиться, что в отдельных пачках не будет доставать бумажек, Иоффе только рукой махнул и сказал:

«Бросьте, все будет, как следует».

Я отправился с деньгами в банк, за мной шел служащий посольства с заряженным револьвером, чтобы защитить меня в случае нападения.

Я обменял деньги в банке по курсу, приблизительно на 25% более высокому, чем тот, который кассе посольства до сих пор удавалось получить за царские рубли в маленьких разменных конторах и через посредство агентов. Я вместе с тем попросил банк выдать мне расчет, из которого явствовало, сколько марок было получено при размене рублей.

Когда я с деньгами вернулся в посольство и вручил их Иоффе, я захотел также передать ему расчет и пересчитать, как полагается, принесенные мною деньги. Иоффе же мне только сказал:

«Оставьте это, все в порядке, все очень хорошо».

На это я ему возразил:

«Но, тов. Иоффе, Вы должны же пересчитать

деньги, это ведь крупная сумма, я хочу быть уверенным, что я передал Вам сумму полностью».

Иоффе: «Но я же знаю, с кем я имею дело, все обстоит благополучно».

Иоффе взял у меня всю сумму из рук и положил ее в денежный шкаф. Лишь с трудом удалось мне убедить его положить туда-же и расчет.

Вся эта сцена произвела на меня самое удручающее впечатление, ибо Иоффе в моем присутствии ни при выдаче царских рублей, ни при получении суммы в марках не сделал никакой пометки в какую бы то ни было книгу. Было ясно, что деньги, врученные мне Иоффе, не проходили через кассу посольства. Эта касса принимала и выдавала деньги по письменным ордерам, в чем я сам несколько раз имел случай убедиться. Я обратил внимание Иоффе на то, что я обменял деньги по значительно более высокому курсу, чем касса и что в дальнейшем подобные потери на курсе не должны быть допущены. На это Иоффе спокойно мне ответил:

«Ну, хорошо, в таком случае Вы будете всегда менять в дальнейшем деньги».

И, действительно, я несколько раз менял царские деньги для Иоффе в банках, причем вся процедура происходила всегда так-же как описано выше.

Когда посольство в конце ноября 1918 г., вследствие своей высылки из Берлина, после семимесячного там пребывания, вернулось обратно в Москву, я посетил Иоффе в роскошном доме, который был предоставлен на Поварской персоналу посольства. Иоффе и весь состав посольства чувствовали себя прекрасно. У них было хорошее помещение и великолепное продовольствие и они только ждали момента, когда опять смогут вернуться в Берлин. Иоффе в то время был убежден, что эта высылка, последовавшая, по слухам, под давлением Антанты, продолжится лишь несколько недель и что посольство в самом непродолжительном времени опять появится в преде-

лах Германии. Эта надежда так быстро не осуществилась. Прошли годы, прежде чем советский посол опять переехал во дворец на Унтер-ден-Линден.

Мы заговорили о финансовых вопросах и Иоффе попросил меня назвать ему достойного абсолютного доверия человека, который смог-бы привести в порядок бухгалтерию посольства за прошлые месяцы и свести баланс. Я вспомнил о бывшем директоре Московского машиностроительного завода «Густав Лист», о моем старом друге Германе Якобсоне, честнейшем человеке лет 60-ти, который во время переворота потерял свою должность и состояние и жил в большой нужде.

Я сказал Иоффе, что я разыщу Якобсона и спрошу его, не захочет-ли он принять эту работу на себя. Я разыскал Якобсона на его старой квартире, в которой он жил по-прежнему. Из пяти комнат его скромно обставленной квартиры, в которой я прежде часто бывал в гостях, три комнаты были отданы людям, которые были вселены туда по ордеру Московского Жилищного Отдела. В одной комнате жил его сын со своей женой и ребенком, в последней — Якобсон с женой и тещей. Квартиру нельзя было узнать. Та комната, которую занимал Якобсон, походила на мебельный склад. В этой комнате стояли три постели, буфет, обеденный стол, всевозможные шкафы и другие предметы обихода, которых вынесли сюда из других комнат. Это имело невероятный вид, хотя хозяйка дома, видимо, стремилась привести в порядок весь этот хаос, вызванный не по ее вине.

Увидев меня, старик заплакал.

«Конечно, дорогой мой, я возьму на себя эту работу, мне-же нечем жить. Я постепенно все продал, что у нас еще осталось из ценных вещей. Я старый опытный, знающий бухгалтер, но я не знаю, смогу-ли я удовлетворить требованиям, которые ставит Иоффе».

«Дорогой Герман Матвеевич, *этим* требованиям

Вы наверное сможете удовлетворить. Я только опасаюсь, что Вы найдете там невероятный хаос. Но я советую Вам работу взять, Вы с ней справитесь».

Якобсон отправился к Иоффе и начал свою работу. Через несколько недель Якобсон явился ко мне в очень расстроенном состоянии. Он сказал, что он в совершенном отчаянии, не знает, что ему делать, оправдательные документы имеются лишь для четвертой части всех расходных статей, на остальные же израсходованные суммы не существует никаких ордеров или документов.

Я возразил ему:

«Не принимайте этого так близко к сердцу. Я же предупреждал Вас о том хаосе, который Вы найдете в книгах посольства. Я Вам настоятельно советую, в Ваших же собственных интересах, не создавайте никаких затруднений, и не возбуждайте вопросов, это только может Вам повредить. Изложите все дело Иоффе совершенно спокойно, оно ему и без того хорошо известно, и просто попросите его, — как будто это так и полагается — выставить Вам особые ордера на все те суммы, на которые Вы сейчас оправдательных документов в бумагах посольства не находите. Сложите все расходные статьи, лишенные оправдательных документов, вместе, разбейте их на три или четыре группы, подведите итог для каждой группы, представьте Иоффе уже готовые ордера для каждой из этих групп и попросите Иоффе подписать эти ордера. Он наверное это сделает.

Тогда Вы спокойны, и Вам еще будут благодарны за то, что Вы не возбуждали лишних или неприятных вопросов. Когда Вы получите от Иоффе подписанные им ордера, тогда Вы сможете заключить свои книги и вывести баланс. Я Вас уверяю, что Вами будут довольны».

Г. М. Якобсон поступил по моему совету, и его работа была закончена ко всеобщему удовлетворению. Через четыре с половиной года, в апреле 1923 г.,

когда я опять был в Москве, я навестил Якобсона в его скромной квартире и нашел его уже дряхлеющим стариком. Рыдая, в нервном возбуждении, он бросился мне на шею:

«Посмотрите, что из меня стало, посмотрите, как я выгляжу! Моей теще уже свыше 80 лет, а мы все еще живем втроем в одной комнате».

Я был весьма удручен и старался, как только мог, успокоить старика. Но он опять все возвращался к своей работе по бухгалтерии посольства и страшно возмущался по поводу «ужасного беспорядка» и «невероятной размазни» в книгах посольства.

«У меня только одно желание», сказал он—«умереть как можно скорее. Я не хочу больше видеть этого ужаса и этой нищеты. Дети мои обойдутся и без меня. В этом совершенно перевороченном мире я ничего больше не понимаю».

Его желание исполнилось очень быстро, он умер от сердечного удара вскоре после этого.

Я видел Иоффе еще только один раз, в сентябре 1924 г. в Лондоне, куда он приехал уже больным. Я навестил его в посольстве и мы долго беседовали, но все больше о мелочах. Иоффе, бывший прежде столь любезен, теперь был замкнут, явно расстроен и видимо избегал серьезных разговоров на темы дня.

Пораженный беспощадным карьеризмом, который он видел вокруг себя, озлобленный гнусным обращением, которому его подвергали в Москве после того, как его отозвали с посольского поста в Токио, в отчаянии от хамства, с которым его бросили, как ненужную щепку — его, больного человека, уже не могущего передвигать ног —, Иоффе покончил с собой в Москве 16 ноября 1927 г.

Его прощальное письмо к Троцкому, которое было сначала взято и спрятано Г.П.У. и опубликовано только значительно позднее, является тяжким обвинением против советских вождей.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

КАРЛ ЛИБКНЕХТ.

В конце октября 1918 г. Карл Либкнехт был освобожден из тюрьмы, куда он был заключен за агитацию против войны. Через несколько дней после его освобождения, советское посольство в Берлине устроило в честь его большой банкет...

Однажды вечером, когда я пришел в посольство, чтобы поработать над своими бумагами, я увидел, что под'езд торжественно освещен. Моя служебная комната находилась в нижнем этаже, все же парадные залы и квартира посла Иоффе помещались во втором. Я спросил служителя, по какому случаю так торжественно освещено посольство; он ответил, что сегодня вечером устраивается в честь Карла Либкнехта банкет, который только что начался в Белом зале.

Я знал Карла Либкнехта лично с 1905 г., часто бывал у него и был с ним в хороших отношениях. Я всегда испытывал глубокое уважение перед этим смелым и прямым человеком, который умел не только говорить с трибуны зажигательные речи массам, но и в частной жизни весьма сердечно относился к людям.

Я считал само - собой разумеющимся, что буду приглашен на банкет, и был так удивлен, что приглашения не последовало, что на следующий день зашел к Иоффе и спросил его об этом. Иоффе извинился тем, что он пригласил, конечно, целый ряд гер-

манских литераторов и политических деятелей, но что он думал, что я принадлежу к специалистам - хозяйственникам, не имеющим ярко - выраженных политических интересов. Я возразил ему, что хотя я и не коммунист, но без сомнения лучше знаю Либкнехта, чем многие из приглашенных им литераторов. Я совершенно откровенно заявил Иоффе, что так как я в банкете участия не принимал, я лично навещу Либкнехта.

Я на следующий же день навестил Карла Либкнехта в его квартире в одном из берлинских предместий. Либкнехт очень постарел за те годы, в течение которых я его не видел. Его голова поседела и волосы были коротко острижены еще по-тюремному, но по темпераменту он был все тот-же, вечно бодрый и живой. Он приветствовал меня самым дружеским образом и был крайне удивлен, когда узнал, что я работаю в посольстве в качестве финансового эксперта и не присутствовал на банкете. Наш разговор, продолжавшийся более двух часов, происходил в присутствии его жены, русской по происхождению, и сына. Я доверял Либкнехту абсолютно и поэтому дал ему совершенно неприкрашенную картину всего происходившего в России за последние годы. Я рассказал ему о мартовской революции и об октябрьской, о тех порядках, которые в настоящее время существуют в России, и о той жестокости, с которой советское правительство преследует каждого инакомыслящего и убивает всякую свободную мысль.

Либкнехт побледнел и был, очевидно, потрясен всем тем, что ему пришлось услышать. Он спросил меня, правда-ли все то, что я ему рассказываю, ибо он еле может этому поверить. Я ответил:

«Я даю Вам слово, я ничего не прибавил, ничего не преувеличил. Вы же видите, что я, несмотря на все это, предоставил себя в распоряжение советского правительства, так как без помощи сведущих лю-

дей нельзя преодолеть того хозяйственного хаоса, который царит сейчас в России».

Либкнехт долго сидел задумавшись и наконец сказал:

«И всетаки это должно произойти. Революцию нельзя делать в белых перчатках. Кто действительно хочет революции, должен хотеть и эти средства. Иного исхода нет. Возможно, что придется пройти через ручьи крови и грязи, чтобы достигнуть цели. Впрочем, революция в Германии не потребует стольких жертв. Человеческий материал совершенно другой, страна к этому подготовлена длинным периодом социального законодательства и ужасной войной. Я думаю, я твердо надеюсь, что мы проведем революцию в Германии с применением гораздо меньшого насилия, ибо все здание уже подгнило, оно само распадается».

Этим закончился наш разговор. Карл Либкнехт крепко пожал мне руку и сказал мне на прощанье:

«Не давайте ужасам террора столь влиять на себя, бодро и с радостью работайте на своем посту, террор не будет же вечно продолжаться».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

И. Э. ГУКОВСКИЙ.

С И. Э. Гуковским я познакомился весной 1918 г. в Москве. Он был в то время народным комиссаром финансов и Крестинский меня с ним познакомил. Гуковский носился с мыслью продать частью или полностью запасы платины, которые находились в распоряжении советского правительства. При своих попытках провести такую продажу, ему нужен был совет специалиста по платиновому рынку. В качестве такого специалиста ему был рекомендован я, так как я состоял в 1916-1917 г.г. директором торгового отдела Шуваловского О-ва в Петербурге — крупнейшего производителя платины во всем мире.

Гуковский обратился ко мне с просьбой составить договор на продажу 50 пудов (= 818 кило = 26.300 унций) платины британскому правительству. Агент британского правительства в Петербурге, Ф. Ф. Лич, предложил советскому правительству £ 13700 за пуд платины, при 83% чистого металла, что соответствовало цене в £ 31,6 за унцию чистой (100%) платины. Гуковский спросил меня, выгодно-ли это предложение. Для сравнения я указал ему, что цена платины до войны равнялась приблизительно £ 9 за унцию, так что предложенная цена в £ 13.700 за пуд является чрезвычайно высокой, тем более, что эта цена была предложена франко русский порт Ар-

хангельск, и советское правительство, следовательно, не должно оплачивать транспорта из Архангельска в Англию. 25 мая 1918 г., договор действительно был заключен в Москве, но он никогда не был приведен в исполнение. Британские военные силы вскоре после этого заняли Архангельск и поставка платины не состоялась.

Эта сделка послужила уже много лет спустя, а именно 27 января 1925 г., поводом к процессу, который был возбужден коммерсантом С. М., явившимся посредником между агентом британского правительства Ф. Ф. Лич и народным комиссаром финансов Гуковским, против британского правительства в Высшем Суде в Лондоне (High Court of Justice, Kings Bench Division). Я должен был, с разрешения советского представительства в Лондоне, выступать в этом процессе в качестве свидетеля. Посредник требовал уплаты комиссии в размере £ 82.000 за заключенную, но не приведенную в исполнение сделку. После долгих препирательств стороны пришли к соглашению в суде и остановились на уплате £ 12.000.

Мне еще несколько раз приходилось затем сталкиваться в Москве с Гуковским. Гуковский был в то время человек лет 50, был прежде маклером на нефтяной бирже в Баку, затем бухгалтером при петербургском правлении крупного нефтяного общества. Ни по своему внешнему облику, ни по всему существу своему Гуковский не походил на коммуниста. Со своей коренастой фигурой, хитрыми глазами, угодливыми манерами он скорее производил впечатление маленького провинциального маклера. Он страдал от последствий известной болезни, мог передвигаться лишь с трудом и был твердо убежден в том, что ему может помочь лишь знаменитый китайский корень «Чжен-Шен». Он всем и всякому говорил об этом и пытался повсюду достать этот корень. После долгих поисков, ему удалось найти запас

этого корня в конфискованных складах крупного японского торгового дома в Петербурге, каковой он себе и присвоил.

Уже весной 1918 г., когда советское правительство об'явило торговлю и все банки национализованными, начался постепенно от'езд всех богатых людей из Петербурга и Москвы на Запад и Юг России. Они стремились по возможности достигнуть Киева, главного города Украйны, где находились немецкие оккупационные войска. Здесь беглецы могли считать себя и спасенное ими состояние (царские рубли, иностранная валюта, драгоценные камни, жемчуга, золото и пр.) в безопасности. Летом и осенью 1918 г. этот от'езд превратился во всеобщее бегство. Все богатые и состоятельные люди, которые могли каким-нибудь способом прорваться через советскую границу, рассыпались по всем направлениям. Люди рисковали, конечно, при этом своею жизнью, многие погибали. Захваченные с драгоценностями и золотом расстреливались немедленно тут же, а найденное при них имущество подвергалось конфискации. Этот страшный риск удерживал, однако, лишь немногих, а именно лишь больных и тех, у коих не хватало мужества для того, чтобы двинуться в этот тягостный путь.

Между лицами, которые во что-бы то ни стало хотели бежать из Петербурга, находился также и богатый банкир Н. Н. Он был прежде нефтепромышленником в Баку и знал Гуковского очень хорошо. Самым простым, безопасным и удобным путем для того, чтобы выбраться из Петербурга, была поездка морем, на пароходе непосредственно из Петербурга до Стокгольма. Вся поездка продолжалась только 40 часов и вела в страну, до известной степени незатронутую войной. Н. Н. предложил Гуковскому следующую сделку. Он из'явил готовность предоставить в распоряжение комиссариата финансов крупную сумму в английских фунтах по твердому курсу. В то время

платили нелегально, в частном обороте, приблизительно 50 царских рублей за фунт стерлингов. Н. Н. предложил продать комиссариату финансов несколько сот тысяч фунтов по гораздо более низкой цене (по слухам приблизительно за 36 рублей за фунт). Н. Н. вместе с тем заявил, что вся эта сумма находится в Англии и положена на имя его жены, а так как доверенности, выставляемые в то время в Петербурге, в Англии более не признавались, то ему необходимо ехать в Стокгольм вместе с женой, чтобы оттуда провести всю сделку и совершить все необходимые формальности. В обезпечение того, что предложенная им сделка действительно будет проведена, Н. Н. из'явил готовность предоставить в распоряжение комиссариата финансов в качестве залога миллион рублей со своего текущего счета в Петербурге. Конечно, это было до известной степени только жестом, так как все равно в то время уже нельзя было брать с текущего счета больше тысячи рублей в месяц. Но принимая во внимание ту полную неуверенность, в которой в то время находилось само советское правительство в отношении своего собственного будущего, этот жест все же означал довольно веское подтверждение предполагаемой сделки.

В конце августа или начале сентября 1918 г. Гуковский ездил со мной в автомобиле по всему Петербургу в поисках за чемоданами. Большая часть магазинов была закрыта, только кое-где еще оставались мелкие лавки, которые торговали. В одной лавке мы нашли около пятнадцати средних и малых фибровых чемоданов, которые Гуковский купил и перевез в подвалы государственного банка. Чемоданы были наполнены в присутствии Гуковского и моем царскими рублями; это были 500-рублевые и 100-рублевые билеты, совершенно новые, упакованные в пачки по сто билетов каждая. Что касается 500-рублевых билетов, то можно было с легкостью упаковать два миллиона рублей в маленький чемодан, для сторубле-

вок же требовалось, конечно, помещение в пять раз большее.

Все чемоданы были наполнены и заперты. Всего там было наверное не менее десяти миллионов рублей. Царские рубли котировались тогда еще в Стокгольме по хорошему курсу, так что эти чемоданы с русскими бумажными деньгами представляли даже в высокой валюте значительную ценность.

Накануне отхода парохода из Петербурга в Стокгольм я зашел в гостиницу «Астория», в которой жил Гуковский. Я увидел внизу, в вестибюле, скромно сидящих в углу Н. Н. с женой, которые ждали разговора с Гуковским. На другой день Гуковский уехал в Стокгольм вместе с Н. Н. и его женой, причем багаж этих последних был подвергнут, конечно, лишь очень поверхностному осмотру. Дальнейшие обстоятельства мне неизвестны, но факт тот, что предполагаемая сделка — покупка на царские рубли значительного количества фунтов — не была приведена в исполнение. Н. Н. вовсе и не имел в своем распоряжении той суммы в английских фунтах, каковая им была предложена для покупки Гуковскому. Все дело был просто - на - просто военной хитростью для того, чтобы выбраться из советской России.

Гуковский оставил, правда, целый ряд чемоданов в тогдашнем советском представительстве в Стокгольме, с целью обмена денег на иностранную валюту, но все же он вынужден был вернуться в Петербург, не выполнив предполагемой сделки с Н. Н. С советской стороны ему никогда не могли простить того, что он попался таким образом впросак. Более того, его враги возбуждали против него обвинение, что он сознательно за хорошее вознаграждение дал возможность Н. Н. и его жене скрыться заграницу.

Позднее Гуковский был послан в 1919-1920 г.г. в качестве торгового представителя в Ревель. Ревель был в это время единственною брешью, через которую советская Россия могла общаться с герметически

закрытым внешним миром. Обе ревельских гостиницы «Ст. Петербург» и «Золотой Лев» были в то время центром для всех рыцарей наживы и для всякого рода авантюристов, которые хотели в мгновение ока заработать на советских делах миллионы. Во времена Гуковского в ревельском торговом представительстве шло невероятное взяточничество среди личного состава представительства. В конце концов Гуковский был отозван в Москву и там покончил жизнь самоубийством. На его похоронах не присутствовал никто из видных представителей советской власти.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

КОНФИСКАЦИЯ СЕЙФОВ.

В декрете, который был выпущен советским правительством 14-го декабря 1917 г., о национализации банков, имелось, среди прочих мероприятий, и распоряжение о закрытии сейфов и о конфискации находящихся там иностранной валюты, драгоценных камней, благородных металлов и прочих ценных предметов.

При открытии сейфов и конфискации их содержимого, производившимися в Петербурге, весною 1918 г., в присутствии владельцев сейфов, нередко разыгрывались и драматические сцены.

Большая часть владельцев хладнокровно являлась со своими ключами, спокойно давала возможность открывать сейфы и покорно взирала на конфискацию своего имущества. Некоторые не произносили при этом ни слова, другие волновались и старались доказать чиновникам, что тот или иной предмет не подлежит конфискации, третьи со слезами на глазах пытались уверить чиновников в том, что находящиеся в сейфе драгоценные вещи представляют все их состояние и что без них они обречены на голод. Чиновники сами были в очень тяжелом положении, они не имели права проявлять никакого снисхождения и должны были строго придерживаться предписания. Даже самые минимальные суммы в

иностранной валюте подвергались конфискации, как утаенное имущество.

Русские деньги также извлекались из сейфа, но они не подлежали конфискации в прямом смысле этого слова и поступали в банк на текущий счет владельца данного сейфа. Если у него текущего счета не было, ему открывали особый счет. С этого счета он мог брать ежемесячно уже тогда незначительную сумму в тысячу рублей. В первое время национализованные банки действительно выплачивали владельцам эту все более и более обесценивающуюся месячную сумму в тысячу рублей; в дальнейшем же все растущая инфляция настолько понизила ценность этой суммы, что она уже не имела никакого значения в смысле покрытия расходов на жизнь.

Впрочем, не все богатые или состоятельные люди относились так покорно к конфискации своих сейфов. Несмотря на то, что всякая проделка в этом отношении преследовалась самым беспощадным образом и в случае обнаружения неминуемо каралась расстрелом для всех ее участников, все-же находились сумасшедшие смельчаки, которые рисковали своей жизнью, чтобы получить обратно содержимое сейфа.

К состоятельным петербургским гражданам, о которых предполагали, что у них хранятся в сейфах особо крупные ценности, приходили весной 1918 г. посредники и предлагали принести на дом в нетронутом виде все содержимое сейфа за вознаграждение в размере 100.000 царских рублей за сейф. Владелец сейфа должен был только выразить согласие и передать посреднику ключ от сейфа.

Риск был страшный. Владелец сейфа рисковал не только тем, что посредник мог оказаться подосланным к нему в дом провокатором, который немедленно после этого мог передать его в руки Ч. К.; он рисковал своею жизнью и тогда, если посредник имел по отношении к нему самые благие намерения.

Опасность, что посредник присвоит себе содержимое сейфа и исчезнет с украденным имуществом, была совершенно неважной по сравнению со всем прочим риском, так как владелец сейфа все равно считал находившееся в нем имущество почти что потерянным. Само собой разумеется, что подобные предложения могли заинтересовать лишь тех, у которых в сейфе находилось имущество, во много раз превышавшее по своей ценности требуемую сумму в 100.000 царских рублей за сейф.

Во всяком случае факт тот, что некоторые люди, несмотря на все предпринятые против этого меры, в действительности получили таким образом содержимое своих сейфов. Но не подлежит также и сомнению, что некоторые банковские служащие, работавшие в отделе сейфов, были расстреляны в связи с этими проделками.

У меня самого также был сейф в одном из петербургских банков, в котором я хранил, кроме своих частных бумаг, несколько ценных вещей, принадлежавших моим родственникам. Эти ценные вещи лежали порознь, завернутые в маленькие пакеты, на которых значилось имя собственника.

В начале 1918 г. появилось в петербургских газетах оповещение, согласно которому все владельцы сейфов, фамилия коих начиналась с той или другой буквы, должны были явиться в определенный день в банк со своими ключами. Буква Л. приходилась на конец февраля, и я явился в назначенный день в банк с моим ключом. В стальной камере были расставлены столы, за которыми сидели чиновники. Кругом стояли владельцы, сейфы которых должны были быть открыты.

Принцип, лежавший в основе открытия сейфов, заключался в следующем: все ценные вещи (благородные металлы в слитках, предметы из платины, золота и серебра, драгоценные камни, жемчуга, иностранная валюта и пр.), которые подлежали кон-

фискации в пользу государства, должны были быть из'яты из сейфов, с тем, чтобы сделать засим невозможным опознание этих вещей в будущем, т. е. установленне принадлежности той или иной вещи тому или другому лицу. С этою целью все вынутые из различных сейфов кольца, брошки и прочие украшения бросались в одну кучу, все драгоценные камни без оправы — в другую кучу. Этот же способ действий применялся и в отношении прочих ценных вещей; если, как в моем случае, находили ценные вещи завернутыми в свертки, то их вынимали из свертка. сверток разрывали, а самый предмет бросали в соответствующую кучу. Советские учреждения в то время еще не были уверены в своей власти. Поэтому стремились всеми силами к тому, чтобы впоследствии никто не смог опознать принадлежащаго ему предмета. Тот же принцип проводился и в других случаях конфискации.

Весною 1918 г., когда в Москву приехал германский посол, граф Мирбах, а в Петербурге было учреждено германское генеральное консульство, бесчисленные русские немцы, в качестве т. н. « Schutzgenossen », т. е. лиц, находящихся под покровительством Германии, начали приносить свои ценные вещи в германские учреждения с целью сохранности и позднейшей отправки в Германию. Такое место приемки находилось в Москве, в Леонтьевском переулке, на той улице, где еще и по настоящее время помещается германское посольство. В Петербурге такое место приемки имелось сначало в роскошном Юсуповском дворце, а затем на Французской набережной. Там постоянно толпился народ. Люди сдавали свои ценные вещи, называли адреса в Германии, по которым вещи должны были быть переданы, и платили за пересылку небольшой сбор.

Передаваемые таким образом вещи постепенно отправлялись в Германию и все те, которые послали свои вещи ранним летом 1918 г. через петербургские

места приемки, действительно получили их на руки в соответствующем отделе Министерства Иностранных Дел в Берлине. Дело повернулось совсем не так для тех, которые сдали свои ценные вещи поздним летом в Петербурге. Впрочем, так поступали не только русские немцы, по под их прикрытием и многие русские, которые доверяли свои ценности какому-нибудь германскому приятелю и от его имени и по его адресу пересылали вещи в Германию.

Когда в ноябре 1918 г. дипломатические сношения между Германией и Россией были прерваны и советское посольство было выслано из Берлина, только благодаря необыкновенной энергии германских консульских чиновников в Москве удалось захватить при от'езде всего персонала германского дипломатического и консульского представительства, кроме всех бумаг, также и ценные вещи, сданные на месте приемки в Леонтьевском переулке. Все те, которые доверили свои ценности германскому месту приемки в Москве, получили все свои вещи обратно.

Совсем по-другому было в Петербурге. Советские учреждения препятствовали силой германским представителям в Петербурге взять с собой большие залежи ценностей, которые накопились на месте приемки в Юсуповском дворце и на Французской набережной. Немедленно по от'езде германских консульских представителей был образован «Германский Совет Рабочих и Солд. Деп.» из угодных советскому правительству и коммунистически - настроенных германских военнопленных. Этот «Совет» был признан советским правительством оффициальным представительством Германии и в его распоряжение был предоставлен громадный дом на Поварской улице в Москве. Этот Совет вел все дела германских военнопленных в России, выдавал виды на в'езд в Германию и выполнял все обязанности, которые обычно лежат на консульствах.

Оставшиеся на месте приемки в Петербурге цен-

ные вещи, которые помещались в нескольких тысячах пакетов и представляли несомненно весьма большую ценность, были переданы Германскому Совету Рабочих и Солдатских Депутатов в Петербурге, причем эта передача, однако, была совершенно номинальною. На самом деле Германский Совет Солдатских Рабочих Депутатов не мог распоряжаться этими ценностями, он даже не имел доступа к кладовым места приемки. По истечении некоторого времени эти кладовые были открыты советскими учреждениями в Петербурге, все пакеты вскрыты, все обертки уничтожены и все находившиеся там предметы перенесены в государственный сборный пункт для конфискованных ценностей. Оттуда все эти об'екты были отправлены в центральный бассейн для конфискованного имущества, а именно в «Гохран» (Государственное Хранилище Ценностей) в Москве.

Эта конфискация имела для многих людей, которые доверили свои ценности германскому месту приемки, весьма печальные последствия. Все обертки на находившихся в месте приемки пакетах были сорваны, но не без того, чтобы имена и адреса отправителей не были отмечены самым тщательным образом.

Если отправители были германские подданные или люди, уже бежавшие из России, они, конечно, были вне пределов досягаемости.

Если-же между отправителями встречались русские подданные, которых можно было разыскать по названным ими адресам, то они, кроме потери своих ценностей, подвергались еще самым тяжким преследованиям за контр-революционную попытку укрыть свою собственность от конфискации.

Хотя при конфискации делалось все, чтобы предотвратить опознание предметов в дальнейшем, все-же это не всегда бывало возможно. На многих кольцах, брошках и прочих украшениях, а также почти на всех серебряных вещах (приборах, посуде и пр.)

были выгравированы монограммы, во многих случаях имена. С другой стороны бывало и так, что в самих вещах (табакерках, коробках и прочих закрытых предметах) находились записки, на которых значилось имя владельца. Я сам видел в Гохране золотую табакерку, в которой лежала записка: Князь Волконский, № 31. Очевидно номер описи его коллекции. Я также видел серебряную шкатулку восемнадцатого века, богато украшенную орнаментами, с приклеенной на дне запиской, носящей имя германского владельца.

Тем не менее, цель была достигнута. При всем желании оказалось бы невозможным отыскать тот или иной предмет в Гохране или в других сборных пунктах.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

ОТЧАЯВШИЙСЯ.

Один мой знакомый, доверенный банка, Н. Н., которого я знал уже много лет, имел в одном из московских банков два маленьких сейфа. В одном сейфе лежали его бумаги, различные документы и довольно значительная наличность в русских деньгах (20.000 думских рублей), в другом сейфе он хранил коллекцию золотых и серебряных монет, которой он очень дорожил. В этом сейфе находился также слиток золота ценностью в 70.000 рублей, который принадлежал не ему, а его дяде, купцу А. В. Соловьеву*) из Петербурга.

Соловьев в сентябре 1917 г. — еще во время Керенского — был в Москве и приобрел там с целью помещения капитала слиток золота, который он опасался брать с собой в Петербург. Тогда уже очень косо смотрели на приобретение золота, хотя оффициального запрещения еще не последовало. Бывали уже случаи, что пассажиры Николаевской жел. дороги подвергались осмотру на вокзале по подозрению в перевозке золота. Соловьев, который абсолютно доверял своему племяннику, просил его взять на хранение слиток золота и поместить его в своем сейфе. Н. Н. сначала отказал ему в этом, так как у него

*) Фамилия Соловьева не отвечает действительной фамилии.

самого, кроме нескольких колец и золотых монет не было никакого золота; поэтому он ни за что не хотел класть в свой сейф золотого слитка, да еще чужого. Соловьев возражал на это, что у него нет никого другого в Москве, которому-бы он настолько доверял, чтобы дать ему на хранение слиток золота, и настоятельно просил Н. Н. сделать ему это одолжение. При своей следующей поездке в Петербург он возьмет с собой слиток золота, он только теперь боится брать его. Н. Н. наконец согласился. Они оба пошли в стальную камеру банка и Н. Н. положил слиток золота в присутствии своего дяди в сейф.

Порядка ради Н. Н. выдал Соловьеву расписку в том, что он получил от него слиток золота определенного веса и что он обязуется выдать этот слиток Соловьеву по первому его требованию.

Как только конфискация сейфов стала свершившимся фактом, Соловьев приехал в Москву и узнал от Н. Н., что не только его собственные ценные вещи, но и принадлежащий ему, Соловьеву, слиток золота, находятся в сейфе. Соловьев самым грубым образом обрушился на своего племянника, упрекал его в небрежности и отсутствии предусмотрительности, и заявил ему, что благоразумный человек немедленно после большевистской революции вынулбы из сейфа все, что там находилось.

Во время всего этого об'яснения Соловьев вел себя, как помешанный. Н. Н. ответил Соловьеву, что он сам виноват, так как со дня большевистской революции до дня закрытия сейфов — от 25-го октября до 14-го декабря 1917 года — у него было достаточно времени, чтобы взять свой слиток, если он действительно предвидел катастрофу. Соловьев вынужден был вернуться в Петербург без всякого результата.

В апреле 1918 г., когда очередь открывать сейфы дошла до Н. Н., Соловьев опять появился в Москве и предложил своему племяннику следующую уловку: Н. Н. должен сначала дать открыть первый сейф, в

котором не было ничего ценного, кроме 20.000 думских рублей. Когда-же дело дойдет до составления протокола об открытии сейфа, то Н. Н. должен, вместо действительного номера открытого сейфа, просто назвать номер второго сейфа. При спешности работы чиновник по всей вероятности совсем и не заметит разницы в номерах. Таким образом второй сейф со всем его содержимым будет пока спасен. Если-же чиновник заметит неправильность сейчасже, то Н. Н. всегда сможет оправдаться тем, что он по ошибке перепутал номера. В этом последнем случае, ему, конечно, ничего другого не останется, как дать открыть и второй сейф. Тогда, несомненно, обречены будут на гибель и коллекция монет и слиток золота. Но во всяком случае, нужно же сделать такого рода попытку, ибо неизвестно, сколько времени продержится советская власть. Может быть, большевики погибнут, прежде чем дойдет очередь до насильственного вскрытия тех оставшихся сейфов, владельцы которых не явятся добровольно со своими ключами для присутствования при открытии их сейфов.

Вначале Н. Н. всячески сопротивлялся, но под конец уступил энергичному натиску Соловьева. В назначенный день Н. Н. явился в банк, дал открыть первый сейф и присутствовал при том, как чиновник вынул из сейфа, находившиеся там 20.000 рублей. Н. Н. получил соответствующую квитанцию и вся сумма была впоследствии переведена на его текущий счет. Н. Н. решил, собственно, указать правильный номер, но когда чиновник спросил его о номере сейфа, то Н. Н. неожиданно назвал номер второго сейфа: как он впоследствии уверял, по наитию минуты. Чиновник ничего не заметил. Второй сейф остался, таким образом, фактически не открытым, так как он яко-бы уже был открыт.

Через неделю Соловьев явился в банк с ключами своего племянника и дал еще раз открыть в

действительности уже вскрытый, но оффициально еще не вскрытый первый сейф, — этот раз, конечно, под правильным его номером. Теперь, разумеется, в сейфе не было найдено никаких денег и в нем лежали только бумаги и документы. Соловьев при этом заявил, что он явился вместо своего племянника, так как последний болен. На самом же деле Н. Н., мучимый уже несколько дней тупым чувством страха, категорически отказался итти в банк, чтобы присутствовать при открытии сейфа.

Время шло, а большевики оставались у власти. Содержимое второго сейфа — коллекция монет и слиток золота — были пока спасены, но судя по всему, можно было ждать в любой момент, что оставшиеся сейфы будут насильственно вскрыты. Не исключалась возможность, что и вскрытые уже сейфы будут еще раз вскрыты. С этого времени чувство страха, которое начало преследовать Н. Н. с момента произведенной манипуляции, все усиливалось и превратилось, наконец, в настоящую манию преследования.

Н. Н. был женат, но по характеру супруги не подходили друг - к - другу и брак этот был несчастлив. Их двое детей умерли в раннем возрасте в начале войны, таким образом ничто их больше не связывало. После переворота Н. Н. потерял свое место в банке и был теперь без дела. Его жена, женщина образованная, но истеричная, осыпала его самыми тяжелыми упреками: в том, что он во-время не бежал с ней из России, в том, что он не умеет, как другие способные люди, каким-либо образом зарабатывать деньги, или же, если уже иначе никак нельзя, то устроиться хотя бы на службе у большевиков. Н. Н. страдал неимоверно от упреков своей жены и от постоянно преследовавшего его чувства страха. Н. Н. очень редко говорил со своей женой о делах. У него никогда не было по отношению к ней настоящего доверия и он ни слова ей не сказал о манипуляции с

сейфом. Жена часто спрашивала его, что его так удручает, но он всегда отговаривался ссылкой на общее тяжелое положение.

Соловьев за это время исчез из России. В сейфе даже не было записки, которая подтверждала бы, что слиток золота принадлежит в действительности Соловьеву. Таким образом, если бы сейфу пришлось еще раз быть вскрытым, то Н. Н. явился бы формально собственником и коллекции монет и золотого слитка, обманным образом скрытых от властей. Его жизнь была загублена.

Эта мысль его преследовала и мучила самым ужасным образом. Он почти не спал по ночам, вздрагивал при малейшем подозрительном шорохе, при каждом гудке проезжавшего мимо дома автомобиля. Он не мог отделаться от чувства, что вот ночью придут из Ч. К., арестуют его и расстреляют. Однажды он прочел в газете, что прошлой ночью несколько человек было арестовано за махинации с сейфами. Он упал со стула без чувств. Когда он пришел в себя, жена его настояла на том, чтобы он сказал ей, в чем дело. Она от него не отставала и Н. Н., у которого не было сил сопротивляться, нехотя, урывками, открыл ей всю тайну. Его жена заметила только, что она никогда не считала его способным на такую искусную махинацию, что это, наверно была не его идея, а идея его дяди Соловьева. Он может быть вполне спокойным, с ним ничего не случится.

Материальное положение Н. Н. все ухудшалось. Из той наличной суммы, которая была найдена в сейфе, он мог ежемесячно брать лишь тысячу рублей, которая не покрывала уже его потребности. Его жена становилась все более и более истеричной и каждый день осыпала его самыми ужасными упреками. Жизнь превратилась в ад. Он уже сделался торговцем, покупал и перепродавал подтяжки, бритвенные приборы, галстуки, трикотажные изделия, словом все, что ему попадало под руку.

Однажды в сильный мороз он провел целый день на ногах и вернулся домой усталый и разбитый, ничего не заработав. Жена встретила его градом упреков. На этот раз Н. Н. не выдержал и рассчитался с женой за всю свою искалеченную жизнь. Жена была возмущена: человек, который всегда так покорно переносил все ее упреки, вдруг энергично выступает; ясно, что за этим скрывается женщина! Вне себя от бешенства она крикнула:

«Если ты не замолчишь сейчас-же и посмеешь сказать мне еще одно слово, я пойду в милицию и заявлю, что ты скрываешь в своем сейфе слиток золота».

Н. Н. сильно побледнел, встал, надвинул шапку на голову и ушел из дому. Непосредственно за этой сценой он пришел ко мне. Это был конец января 1919 г. Я испугался при виде его. Я знал, что он плохо живет с своей женой и что он от этого очень страдает. Он часто приходил ко мне и жаловался на свою судьбу. Я замечал, что он всегда был весьма удручен, но приписывал это общему тяжелому положению и его отношению к жене.

Н. Н.: — Я пришел поговорить с Вами, я должен с кем-нибудь поделиться. Вам я доверяю, но прошу Вас считать наш разговор строжайшей тайной.

Л.: — Успокойтесь, я вполне в Вашем распоряжении. Весь вечер свободен для Вас. Вы можете спокойно доверить мне все то, что Вас удручает. Вы знаете, что я умею молчать.

Н. Н.: — Никто не должен узнать о нашем разговоре.

Л.: — Я даю Вам слово.

Н. Н. подробно рассказал мне о манипуляции с сейфом и о последней сцене с женой.

Н. Н.: — Вы понимаете, это уже слишком. Женщина, которая может бросать своему мужу в лицо

такую угрозу, теряет все права по отношению к нему.

Л.: — Вы вполне правы. Но не забывайте, что Ваша жена нервно - больной человек, что она угрожала Вам в припадке бешенства и что она никогда не приведет этой угрозы в исполнение.

Н. Н.: — Я в этом отношении не так уже уверен, как Вы. В минуту бессмысленной ревности она, пожалуй, сможет привести угрозу в исполнение. Но это и не важно, донесет-ли она на меня в действительности или нет. Важно то, что она вполне сознательно угрожала мне. Это является для меня решающим. Я Вас уверяю, что если я сейчас окончательно уйду из дому, то она в состоянии донести на меня.

Л.: — Я этого не думаю, но Вы, конечно, не должны подвергать себя этой опасности. У Вас нет выбора, Вы и не можете уйти от Вашей жены. Вы столько лет с ней прожили, попытайтесь и дальше ужиться с ней.

Н. Н.: — Я ношусь с мыслью донести сам на себя. Какого Вы мнения об этом?

Л.: — У меня нет мужества дать Вам такой совет. В другой стране это было-бы единственно правильным исходом. У нас же очень трудно предсказать, какой оборот может принять такое самообвинение. Если-бы я знал, что вся история может кончиться для Вас конфискацией Вашего состояния и несколькими месяцами тюрьмы, то я Вам, конечно, посоветовал-бы решиться на этот шаг. Вы, несомненно, успокоились бы и избавились-бы от Вашего постоянного страха.

Н. Н.: — Думаете-ли Вы, что мой донос на самого себя может кончиться расстрелом?

Л.: — Я не думаю этого, но к сожалению, это не вполне исключено. Я во всяком случае не смею давать Вам такой совет при нынешних обстоятельствах. Кроме того, на это у Вас всегда еще есть время. Этот путь Вам всегда открыт.

Н. Н.: — Что-же мне делать?

Л.: — Возвращайтесь к жене. Скажите ей, что Вы на нее не сердитесь, что Вы хорошо знаете, что она угрожала Вам в состоянии сильного возбуждения. Скажите ей, что Вы твердо убеждены в том, что она никогда не приведет в исполнение угрозы, тем более, что она этим ввергнет в несчастье не только Вас, но и самое себя. У нее никого не будет, кто о ней позаботится. Возьмите себя в руки, будьте с ней любезны и внимательны, это на нее благотворно подействует. Это все, что я могу Вам посоветовать, у Вас нет иного пути.

Н. Н.: — Я последую Вашему совету.

Н. Н. пожал мне руку и ушел. Через неделю его жена, проснувшись, нашла мужа в соседней комнате без признаков жизни. Он оставил короткую записку, в которой просил никого не винить в своей смерти. Он отравился.

Кроме меня никто, вероятно, не знал истинных причин, толкнувших его на самоубийство.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ.

Однажды, в Петербурге, в половине августа 1918 г., ко мне обратился мой знакомый Георгий Р. с просьбой помочь ему в очень трудном деле. Его старший брат Р. Р.*) был арестован незадолго до этого. Дело шло о том, чтобы освободить его из тюрьмы. Р. Р. был арестован по тяжкому подозрению в соучастии в убийстве петербургского комиссара Володарского. Володарский некоторое время тому назад был застрелен своим шоффером Иоганнсеном. Удалось установить, что этот Иоганнсен был знаком с Р. Р., а именно, что Р. Р., — который заведывал во время февральской революции 1917 г. центральной автомобильной базой при Государственной Думе, — нанял в то время Иоганнсена в качестве шоффера. Отсюда сделали заключение, что и Р. Р. принимал участие в убийстве.

Я знал поверхностно Георгия Р., молодого студента, 21-го года, но совершенно не был знаком с Р. Р.

Я узнал, что Р. Р. занимал ответственное место в шведском Красном Кресте в Петербурге, на обязанности которого лежало распределение продуктов питания, одежды и прочих предметов обихода

*) По известным причинам инициалы Р. Р. не соответствуют настоящему имени.

между многочисленными германскими военнопленными в России. Эти продукты питания и другие предметы распределялись из Петербурга по отдельным лагерям для военнопленных. Я узнал также, что Р. Р. был страстным спортсменом и автомобилистом, участником гонок, прожигателем жизни со всевозможными любовными историями, что он был карьеристом, беспощадно пробившимся своими локтями в жизненной борьбе и имевшим большой успех. Весьма вероятно, что Р. Р. с политической точки зрения питал симпатии к старому строю, но он безусловно не был идеалистом и политическим фанатиком, который жертвует своей жизнью за политическую идею; что же касается до участия в таком опасном предприятии, как покушение на жизнь комиссара Володарского, то об этом не могло быть и речи. Положение Р. Р. было отчаянное, так как Урицкий, стоявший тогда во главе Ч.К., вел следствие по этому важному политическому покушению весьма энергично, и у Р. Р. было очень мало шансов на спасение своей жизни.

Георгий Р., который ясно понимал отчаянное положение своего брата, умолял меня помочь ему. После того, как я, на основании собранных мной сведений, убедился в том, что Р. Р. не мог принимать участия в приписанном ему преступлении, я согласился пойти к Крестинскому, тогдашнему комиссару финансов в Петербурге, и изложить ему сущность дела. Я вместе с Георгием Р. отправился к Крестинскому, в его канцелярию в Государственном банке. Георгий Р., который носил форменную фуражку шведского Красного Креста — он тоже занимал маленькое место в конторе своего брата — изложил суть дела и просил Крестинского помочь его брату, невиновному в этом преступлении. Я рассказал Крестинскому обо всем, что я узнал об Р. Р., об'яснил ему, что хотя я лично не знаю Р. Р. и совершенно не могу ручаться за его политическую и деловую мо-

раль, я, однако, твердо уверен в том, что он не принимал участия в покушении на Володарского. Крестинский ответил нам, что самое правильное будет обратиться по этому делу непосредственно к Урицкому. Судьба Р. Р. — в руках Урицкого и самое лучшее изложить ему все дело лично.

У меня не было особых симпатий к Р. Р., после всего того, что я о нем узнал, но вопрос шел о спасении человеческой жизни, а он был в этом преступлении совершенно невиновен. Нужно было действовать очень быстро, поэтому я не мог не подчиниться настойчивым просьбам его брата. Крестинский сообщил мне, что он сегодня вечером вместе с Урицким уезжает в Москву и что самое лучшее будет, если я завтра утром отправлюсь к Урицкому, уже в Москве. Мне удалось достать билет в этот же вечер на тот-же самый поезд, с которым Крестинский вместе с Урицким под сильной охраной ехали в Москву.

Я познакомился с Урицким еще раньше. В конце ноября — начале декабря 1918 г., когда советское правительство начало беспощадную борьбу против Петербургской Городской Думы и против различных районных дум, с конечной целью роспуска всех этих учреждений, я явился к Урицкому в Смольный Институт, в качестве председателя Адмиралтейской Районной Думы, во главе депутации, состоявшей из гласных отдельных районных Дум. По поручению депутации я просил Урицкого прекратить борьбу против районных Дум. Я указал ему на важные коммунальные задачи, которые стояли перед гласными Дум и от выполнения которых зависело благосостояние большого города. Я без всяких оговорок признал, что городские районные Думы не стояли на должной высоте, но раз'яснил ему, что война, революция, недостаток средств и сил в высшей степени препятствовали развитию деятельности Дум, и что при теперешнем положении вещей они являются во всяком случае единственными учреждениями, которые

искренне стремятся справиться по мере возможности с задачами коммунального управления. Урицкий — нервный, низкорослый, тщедушный человек с острыми колющими глазами — прерывал меня неоднократно, но все-таки дал мне договорить до конца и заявил в ворчливом тоне, что он обдумает наши соображения, обещать-же ничего не может. Думы, по его мнению, состоят главным образом из буржуазных и мелко-буржуазных элементов, число же гласных — пролетариев там весьма ограничено. Такое положение вещей должно быть изменено, так оставаться это дальше не может.

В действительности борьба закончилась тем, что все петербургские Думы были распущены в январе-феврале 1919 г.

На следующее утро, я поехал к Урицкому в гостиницу «Метрополь». Само собой разумеется, как и во всех прочих гостиницах, где останавливались комиссары и высшие советские сановники, принимались и здесь все обычные меры предосторожности. Каждый посетитель, входящий в вестибюль гостиницы, должен был пройти мимо служащего, который спрашивал его о цели посещения. Служащий по получении ответа спрашивал по телефону у комиссара, которого назвал посетитель, действительно-ли посетитель назначен к нему, и, в случае положительного ответа, пропускал его в комнату.

Меня пропустили немедленно и я вошел в еще неубранную комнату, которую Урицкий занимал вместе с Крестинским. Оба были еще не одеты. Они стояли передо мной небритые, в ночных туфлях, без пиджака, в подтяжках и без воротника. Я поздоровался с Крестинским, который представил меня Урицкому.

У. — Я Вас уже знаю. Я отлично помню, что Вы были у меня в конце прошлого года в качестве представителя городских Дум. Какое дело у Вас ко мне теперь?

Л. — Я думаю, что Крестинский Вам уже вкратце изложил цель моего посещения. Дело идет о Р. Р., который сидит в Петербурге в заключении!

У. — Почему Вы приходите ко мне? Почему Вы просите за этого человека? Вы его знаете, что-ли, он, может быть, Ваш друг?

Л. — Р. Р. — не мой друг. Я его совсем не знаю; я его никогда не видел. Я потому решился к Вам притти, что меня об этом просил его брат Георгий Р., жених моей младшей сестры. Это может послужить Вам достаточным об'яснением, почему я согласился просить Вас за Р. Р.

У. — Хорошо. Ну, что-же Вы можете сказать об этом человеке? Он — спекулянт самого нисшего пошиба. Он злоупотреблял своим положением в шведском Красном Кресте, припрятывая часть находившихся у него и предназначенных для военнопленных продуктов питания, а затем продавая их за большие деньги частным лицам.

Л. — Об этом я ничего не знаю, об этом я ничего не слышал. Может быть, что Р. Р. спекулянт, может быть, что он спекулянт самого нисшего пошиба. Если у Вас имеются доказательства этого на лицо, то Вы, конечно, поступите с ним соответствующим образом. Но здесь вопрос идет совершенно о другом: не о спекулянте Р. Р., а о том, что его обвиняют в соучастии в покушении на Володарского.

У. — Что Вы можете по этому поводу сказать, что Вы вообще об этом знаете?

Л. — Я ничего не знаю о покушении. Я знаю только, что Р. Р. участник гонок, любитель женщин, танцор и прожигатель жизни. Он интересуется лошадьми, автомобилями и женщинами. Он хочет хорошо жить и хорошо зарабатывать. Это все, что его интересует. Политические идеалы весьма далеки от него, он ни в каком отношении не идеалист, а следовательно и не в политическом. Он своей жизнью не рискнет из-за политического покушения, безразлично от того, против кого оно направлено.

У. — Одним словом, Вы просто его считаете неспособным участвовать в покушении с политической целью?

Л. — Безусловно нет. Весь его характер говорит против этого.

У. —- Можете-ли Вы ручаться за Р. Р.!

Л. — В нынешнее время можно ручаться только за самого себя и за самого близкого друга, которого знаешь вдоль и поперек. Я уже потому не могу ручаться за Р. Р., что я его лично вообще не знаю. Тем не менее, все что я сказал, остается в полной силе. Я могу только еще раз повторить, что я лично нисколько не сомневаюсь в том, что он не имеет ни малейшего отношения к покушению на Володарского.

У. — Сделали ли бы Вы это заявление, если-бы у Вас были сомнения в том, принимал-ли Р. Р. участие в покушении?

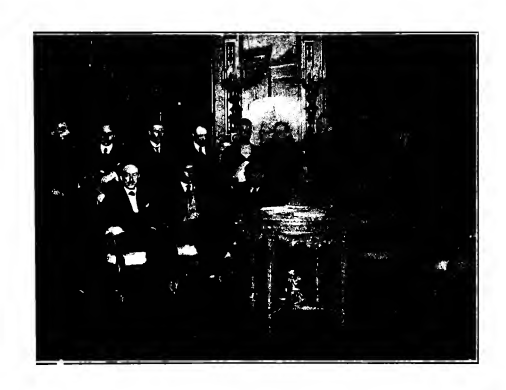
Л. — Если-бы я не был твердо убежден в том, что Р. Р. не имеет никакого отношения к покушению, то я-бы к Вам вообще не обратился.

У. — Хорошо, я дело рассмотрю и тогда увижу, что можно сделать.

Через десять дней Р. Р. был освобожден.

Он еще несколько месяцев прожил в Петербурге и вел дела шведского Красного Креста. В декабре 1919 г. ему удалось в качестве представителя Красного Креста уехать в Швецию с женой и с ребенком. Уехал он во-время, так как вечером, в день от'езда, в его квартиру явились агенты Ч.К., но никого уже не нашли.

Сам Урицкий еще в том же году погиб от пули политического противника. На другой день после его смерти, как акт мести за это убийство, было расстреляно, согласно оффициальному оповещению, 715 невинных людей, сидевших в качестве гражданских заложников в петербургских тюрьмах.



В Юсуповском дворце члены германского и австрийского Советов Рабочих и Солдат чествуют писателя Эдуарда Фукса

(Петербург, конец декабря 1918 г.).

Стоит первый слева (с револьвером за поясом) чекист Браун (он же Брук). Дальше стоят члены солдатских советов.

Сидят слева направо: Председатель германского совета Гельхер (спутник Фукса), Эдуард Фукс, Дуда (спутник Фукса), председатель австрийского совета, и автор книги М. Я. Ларсонс.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

ПРОВОДЫ.

Чичерин, Зиновьев, Стучка, Эдуард Фукс.

В половине декабря 1918 г., я познакомился в Наркоминделе с известным германским писателем Эдуардом Фуксом, который — по его словам — был послан в Москву, чтобы приветствовать советское правительство от имени нового германского правительства, взявшего власть в свои руки, после переворота 9 ноября 1918 г.

Я интересовался его книгами по истории нравов, и между нами началась оживленная беседа. Я был у него в Кремле, во дворце, где он жил, и присутствовал при разговоре, который происходил между ним и русским поэтом Алекандром Блоком. Это был по истине необычайный контраст — с одной стороны оффициальная, холодная давящая роскошь покоя, в котором мы сидели, с другой — нагроможденные на полу коробки с мясными консервами. Фукс с гордостью показал мне книгу в прекрасном, дорогом шелковом переплете, которая содержала конституцию советской республики (Р.С.Ф.С.Р.) и была ему подарена советским правительством.

Фукс, который должен был вернуться обратно в Германию, попросил меня, если это только возможно, проводить его до германской границы, так как

он ни слова не понимает по русски и везет с собой важные документы и бумаги.

Фукс обратился с этой просьбой также в комиссариат иностранных дел, и мне было поручено, с согласия моего непосредственного начальника, комиссара финансов Крестинского, проводить Фукса сначала до Петербурга, а затем до советской границы.

В двадцатых числах декабря, приблизительно 22-го, вечером, мы выехали из Москвы в Петербург. Кроме Фукса с нами ехали два австрийских коммуниста, Дуда и Мельхер, а также шесть солдат специальной стражи Наркоминдела. К комиссариату иностранных дел, помещавшемуся тогда в заднем флигеле гостинницы «Метрополь», где мы все уже собрались, под'ехал грузовик. Из комиссариата вынесли ряд чемоданов, среди них сундук громадных размеров, и поместили их на грузовик. Все чемоданы были перевязаны и запечатаны. Мне, конечно, было неизвестно, что содержалось в чемоданах, но я был достаточно опытен, чтобы не задавать подобных вопросов.

Комиссар иностранных дел Чичерин лично просил меня приложить все усилия к тому, чтобы Фукс, его спутники и багаж в полной неприкосновенности проследовали через границу. На первый взгляд Чичерин производил впечатление редкостного чудака: неряшливо одетый, в коротких штанах не по росту, с толстым шерстяным обмотанным вокруг шеи шарформ, с лицом, на котором ясно виднелись следы бессонных ночей, он нервно шагал по своему кабинету.

Путешествие это по тем временам было очень рискованным предприятием. В то время не существовало границы, через которую можно было-бы выехать из России обычным нормальным путем. Фукс возвращался обратно в Германию, а потому должен был следовать по обычному маршруту из Петербурга в Германию через Латвию и Литву. Везде по близости советских границ стояли неприятельские отря-

ды: латвийские, литовские, польские и балтийский ландвер, через которые должен был проскользнуть Фукс со своими многочисленными чемоданами. Как разрешить задачу, куда и до какого пограничного места нужно было довести Фукса, было для меня столь же неясно, как и для него и его спутников. Но Фукс был настроен оптимистически и вполне убежден, что все кончится благополучно. Так же смотрели на это дело и оба австрийца. Я сам был фаталист, ибо вся жизнь все равно превратилась в одну сплошную авантюру. Итак, прежде всего едем в Петербург.

На Николаевском вокзале в Москве мы сначала не могли найти ни одного пустого вагона. Все было переполнено, все кричали и толкали друг друга. Под конец мы должны были удовлетвориться совершенно загаженным вагоном Ш класса, который к тому уже был занят проезжавшими матросами. Наша стража безуспешно пыталась заставить вооруженных матросов освободить вагон. Мы были поэтому вынуждены разделить вагон с матросами и заняли переднюю его часть. Наша стража не доверяла матросам, которые с любопытством глазели на все наше шествие с бесчисленными чемоданами. Всю ночь мы не сомкнули глаз.

В Петербурге мы пробыли несколько дней.

Мы посетили все вместе германский Совет Рабочих и Солдат в Юсуповском дворце и австрийский Совет во дворце бывшаго австрийского посольства. Германские и австрийские товарищи приветствовали Фукса очень восторженно. Превосходный, сверкающий остроумием собеседник и раскачзик, он веселил все общество. В Юсуповском дворце он торжественно снялся в группе среди всех германских товарищей.

Мы вместе ездили также и в Петропавловскую крепость. Темнело. Силуэты крепости четко вырисовывались на фоне серого зимнего неба.

При в'езде в крепость Фукс остановил машину.

Он вылез и попросил меня об'яснить часовому, кто он такой.

«Скажите товарищу, что я приехал из Германии, где мы недавно также провели победную революцию и выгнали императора. Скажите ему, что я приношу ему привет от германских товарищей, которые всегда будут бороться бок о бок с советской Россией».

Я внимательно посмотрел на солдата. Русский крестьянин с тупым угрюмым лицом, совершенно замерзший в своей потертой шинели, он переступал с ноги на ногу и в эту минуту, вероятно, исключительно думал о том, как-бы скорее смениться и отправиться в теплую казарму.

Поза и театральные жесты мне всегда были противны, в особенности в серьезных делах. В этот момент я почувствовал, как никогда до этих пор, что от смешного до великого только один шаг.

Мне тяжело было передать церемонное приветствие Фукса этому голодному и промерзшему на посту человеку, который видел нас, сытых и тепло одетых, под'ехавших на автомобиле.

Я обратил внимание Фукса на то, что с часовым запрещено разговаривать и что часовой не имеет права отвечать. Фукс возразил мне: «А все-же я должен Вас просить перевести мои слова». Тогда я обратился к часовому и передал ему на русском языке в точности приветствие Фукса. Часовой угрюмо посмотрел на нас и ничего не ответил.

Фукс попросил меня спросить часового, почему он не отвечает. Вся эта история становилась уж очень неловкой. Я не хотел задеть Фукса и указать ему на странность его поведения. Поэтому я спросил часового о причине его молчания. Часовой ворчливо ответил:

«А что-же мне отвечать-то? Ну, и ладно! Проходите, проходите, товарищи».

«Ну, что-же он сказал!» спросил меня Фукс.

Я перевел ему ответ часового и сказал: «Ну, теперь пойдемте, тов. Фукс».

В сумерках вошли мы в крепость, быстро осмотрели старинный крепостной двор и вернулись обратно. На том-же месте стоял все тот-же часовой и мерз. Фукс кивнул еще раз часовому и мы молча поехали обратно в город.

В другой раз мы вместе посетили Максима Горького. Горький принял нас в своем кабинете, заваленном книгами. После обмена обычными приветствиями, после того как Фукс заверил Горького, что он его очень высоко ценит как писателя, а Горький уверял, что он в высшей степени интересуется выдающимися произведениями Фукса, разговор перешел на современное политическое положение.

Фукс говорил о германском перевороте, о войне, об огромном впечатлении, произведенном на весь мир великою революцией русских крестьян и рабочих, о сильном влиянии и содействии, оказанном ею перевороту в Германии.

Я совершенно точно переводил Горькому все, что говорил Фукс. Горький долго слушал то, что излагал ему Фукс, и затем стал отвечать, что он очень рад, что идеи русской революции пустили корни в Европе. Несомненно, что русская революция совершила много великого и составит яркую эпоху в истории человечества. Но он не знает, известны ли Фуксу отрицательные явления революции. Он, Горький,считает долгом своей совести заявить во всеуслышание, что всякое свободное движение в стране задавлено, что печать задушена, что свободное выражение своего мнения невозможно, что запрещена всякая отрицательная критика политических и хозяйственных мероприятий советской власти, что русские интеллигенты — духовные работники — подвергаются неслыханному обращению и должны влачить свое существование в ужасающих условиях. Обязанность свободного писателя в свободной стране заклеймить эти условия,

содействовать устранению таких наростов, сообщить германской передовой печати об этих печальных явлениях.

Я перевел Фуксу добросовестно и внушительно слова Горького, который видимо был очень взволнован.

Фукс, вообще, ничего на это не ответил, но пытался перевести разговор на другие темы. Горький настойчиво повторял свои утверждения и категорически желал узнать, как относится Фукс ко всем этим преследованиям и известны ли они в Германии. Фукс, напротив, столь же настойчиво увиливал от вопросов Горького и давал на них крайне уклончивые ответы.

Горькому, наконец, этот разговор надоел и он мне сказал:

«Вы не должны ему переводить того, что я Вам сейчас скажу. Мне совершенно ясно, что этот суб'ект не желает мне отвечать, он не хочет понимать того, что я ему говорю. В таком случае, дальнейшая беседа бесцельна, это просто ненужная потеря времени. Пожалуйста, передайте г-ну Фуксу, что я очень рад был с ним познакомиться и желаю ему счастливого пути».

На этом наш визит Горькому и окончился*).

---

*) Шестидесятилетний Горький, который уже много лет живет в Сорренто (в Италии) и до начала гражданской войны в 1919 г. был ярым противником большевиков, теперь, после своей поездки в Россию, весною 1928 г., где ему был оказан оффициальными учреждениями блестящий приемъ, стал восторженным апостолом советского строя.

По поводу показного процесса восьми специалистов, членов так наз. «Промышленной Партии», Горький опубликовал в Московских «Известиях» от 25 ноября 1930 г. воззвание к рабочим и крестьянам, в котором он — долголетний политический эмигрант — призывает рабочих Франции и Англии «потребовать от своих правительств, чтобы они выгнали вон русских эмигрантов и капиталистов, которые хотели бы продать рабочих и крестьян Союза Советов вашим капиталистам».. Но куда? Может быть в Советскую Россию? На это Горький ответа не дает. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.

Конечно, Фукс посетил также и главаря «Северной Трудовой Коммуны», тогдашнего хозяина Петербурга, тов. Зиновьева, и вел с ним в гостиннице «Астория», где он жил со своей женой Лилиной, в моем присутствии долгий разговор.

Зиновьев дал мне оффициальное удостоверение, согласно которому предписывалось всем учреждениям оказывать мне в пути всяческое содействие и предоставлять в мое распоряжение, по моему требованию, паровоз и вагон.

Зиновьев сказал мне: «Поезжайте прежде всего в Двинск, там Вы увидите, как Вам дальше ехать. Везде стоят неприятельские отряды, и я должен предоставить Вам выбор, куда Вы хотите дальше ехать».

На этот раз мы получили хороший вагон II класса в наше исключительное распоряжение. Мы явились вечером на вокзал в Петербурге с нашей стражей из шести солдат и нашими многочисленными чемоданами. Начальник станции указал нам предназначенный для нас вагон. Я вошел туда, но вагон был уже занят людьми, уезжавшими в Двинск и Латвию. Когда стража принялась освобождать вагон, начались неприятные сцены. Один из пассажиров, гласный петербургской районный думы, мой земляк, пробиравшийся на родину, Курляндию, заклинал меня по немецки оставить его в вагоне. Он, оказывается, с большим трудом нашел место, а теперь он должен выйти из вагона, это было-бы ужасно. Я близко подошел к нему и сказал:

«Я не могу Вам об'яснить, почему я здесь. Я-бы очень хотел взять Вас с собой, в этом вагоне, но я не могу. Уверяю Вас, это немыслимо». И я указал рукой на стоящую позади меня группу с чемоданами.

На вокзале царил невероятный безпорядок, который можно было везде наблюдать в те времена, вслед за окончанием войны. До отказу набитые вагоны, часто с выломанными оконными стеклами, пассажиры, стремящиеся несмотря ни на что пролезть

в переполненные вагоны, мужья, ищущие в толпе своих жен, дети, потерявшие родителей.

Секретарь Зиновьева, Г., проводил нас на вокзал и оставался там до отхода поезда. Отход поезда задержался по каким-то причинам. Тогда Г. начал грубо кричать на начальника станции и угрожал ему привлечением к ответственности за саботаж, если поезд чрез несколько минут не двинется.

Наконец, мы от'ехали и прибыли на следующее утро в Двинск. Там я узнал от начальника станции, что прежнее буржуазное латвийское правительство должно было очистить город Ригу и что там провозглашена латвийская советская республика. Правда, это известие дошло до Двинска только как слух и за достоверность его он ручаться не может. Переговорив с Фуксом и его спутниками, я решил двинуться с ними дальше в этом-же вагоне в Ригу. В то время на этом участке вообще не было никакого железнодорожного сообщения. Я потребовал тогда на основании Зиновьевского мандата паровоз и выехал в моем вагоне в направлении Риги.

Когда мы приехали на станцию Огер, в 2 1/2 часах от Риги, мы увидели, что мост через Двину был взорван. Все места по пути нашего следования представляли картину самого страшного разрушения. Здесь война свирепствовала в самых ужасных формах, дома были сожжены и пробиты снарядами, население рассеяно и изгнано. Мы принуждены были оставить наш вагон и паровоз, достали после длительных поисков лошадь и крестьянские сани и отправились с чемоданами и всеми вещами через замерзшую реку на противоположный берег Двины. Там, после безконечного ожидания, нам предоставили другой паровоз и вагон, и в тот-же день 3 января 1919 г. вечером мы прибыли в Ригу.

Я велел солдатам перенести чемоданы и прочий багаж в гостиницу недалеко от вокзала, где мы все, т. е. Фукс, его спутники и солдаты, и поместились. За-

тем я отправился с Фуксом в 9 ч. вечера по совершенно вымершим улицам города — по случаю осадного положения всякое уличное движение после восьми часов вечера было строго воспрещено — к Стучке, главе вновь образовавшегося накануне латвийского советского правительства.

Стучка, человек лет 45-ти, был прежде адвокатом в Митаве, и я знал его еще раньше. Он не был салонным коммунистом; это был убежденный идейный человек, принадлежавший с юных лет к левому крылу латвийской социал-демократии. После большевистского переворота он занимал видное место в комиссариате юстиции в Москве, где я с ним, за месяц до этого, еще обсуждал вопрос о новом консульском уставе. Это был человек с ограниченным горизонтом и неособенно выдающейся интеллигентностью, но без шовинистических тенденций, которого советская власть в Москве давно уже наметила в качестве будущего главы латвийского советского правительства.

Фукс попросил Стучку дать ему надежную стражу для сопровождения его и спутников через Латвию, так как обычный путь через Митаву и Литву несомненно представлял кратчайший путь в Германию. Я об'яснил Стучке, что мне было поручено проводить Фукса и его спутников до ближайшей надежной советской границы и что я считаю свою задачу с прибытием в Ригу выполненной. Я передаю теперь Фукса и его спутников Стучке и предоставляю ему дальнейшее. Я намереваюсь, если это возможно, уже на следующий день вечером отправиться в Москву со всею стражею из шести солдат прямым путем через Режицу, и был-бы ему очень признателен, если-бы он нашел возможным предоставить в мое распоряжение отдельный вагон второго класса. До предполагаемого от'езда Фукса со спутниками в Митаву, я, разумеется, буду заботиться о них по-прежнему. Стучка согласился с моим предложением и обещал сделать все возмож-

ное, чтобы Фукс со спутниками могли на следующий день уехать.

Так как от Митавы уже не существовало никакого железнодорожного сообщения и Фукс со спутниками должны были до какой-либо литовской или германской железнодорожной станции продолжать путешествие в санях, а из Риги нельзя было ни в коем случае установить, в каком направлении можно было безопасно достигнуть ближайшего железнодорожного сообщения, то возник вопрос о взятом из Москвы багаже, в особенности о большом сундуке. По этому поводу между Фуксом и его спутниками возникали несогласия уже во время пути. Фукс считал, что в случае нужды придется оставить сундук в Риге, так как если путешествие от Риги будет невполне безопасным, то этот сундук может только весьма затруднить Фукса и его спутников и даже подвергнуть их смертельной опасности. Маленькие чемоданы можно легко переносить в руках, большой-же сундук будет только опасным балластом. Оба австрийца протестовали против намерения Фукса, так как в большом сундуке находились — как я мог уловить из разговора — брошюры, воззвания и прочий агитационный материал на немецком языке, без которых, по мнению одного из австрийцев, вообще не стоило возвращаться на родину. В маленьких чемоданах также был уложен агитационный материал, главным-же образом, в них находились большие денежные суммы в царских рублях.

После разговора со Стучкой Фукс всетаки счел правильным оставить большой сундук в Риге. Я тоже был убежден в том, что большой сундук мог подвергнуть трех путешественников самой серьезной опасности. Поэтому Фукс и я на следующий день, несмотря на протесты обоих австрийцев, перевезли сундук в автомобиле, предоставленном в наше распоряжение латвийскими советскими властями, в отделение государственного банка в Риге. Я сдал сундук, под соответствующую квитанцию, латвийскому комиссару фи-

нансов Карклину, которого я увидел снова через пять лет в качестве заместителя начальника валютного управления в Москве.

Фукс становился в пути все нервнее, в особенности, когда обнаружилось, что нужно будет предпринять опасное путешествие из Митавы в Германию на санях. Несмотря на то, что я об'яснял ему все свои распоряжения, которые приходилось делать в пути, и старался все проводить в полном согласии с ним, все же то обстоятельство, что он не понимал по русски и поэтому не мог непосредственно воспринимать всех моих разговоров и переговоров, привело его в весьма раздраженное состояние. Так как я к тому же вел себя весьма сдержанно и не присоединялся к неумолчному хвалебному гимну, который Фукс и его спутники распевали по поводу всего совершающегося в России, а большею частью молчал, разве только возражал на слишком уже бессмысленные замечания моих спутников, то Фукс считал меня врагом советского строя. Однажды, в сильном раздражении, он заявил, что считает всех меньшевиков без различия оттенков, в том числе и меня, активными борцами скрывающейся под поверхностью контр-революции.

Было-бы совершенно бесцельным и при существующем положении вещей крайне легкомысленным, находясь на советской территории, вступать с Фуксом в спор об идейных целях революции, о грубой насильственной политике советского правительства и о ея правомерности. Я после его беседы с Горьким уже знал, что Фукс в то время избегал политических разговоров и от такого спора безусловно уклонился-бы. Поэтому я очень спокойно принимал все его критические замечания, так как по собственному опыту очень хорошо знал разницу между теорией и практикой, между громкими демагогическими фразами и голой действительностью.

Одно маленькое происшествие дало мне вскоре

возможность испытать теоретическую ориентацию Фукса на практике.

Фукс пробыл в Риге только полтора дня и должен был ехать в Митаву в автомобиле, который был предоставлен в его распоряжение латвийскими советскими властями. Он приготовился в путь. Вдруг он заметил пропажу своих калош и поднял в гостиннице страшный скандал. Несмотря на все старания, калош найти было нельзя. Фукс не мог успокоиться и все время с возмущением возвращался к этой пропаже. Наконец, мне это надоело и я ему решительно заявил:

«Не забывайте, что мы в Риге переживаем революцию. Только три дня тому назад здесь было провозглашено новое правительство. Поэтому Вы не вправе приходить в такое возмущение от потери какой-то несчастной пары калош. У нас всех октябрьская революция отняла возможность самого существования, положение, хлеб и свободу, многие потеряли все свое состояние, тем не менее мы должны были все это спокойно переносить. Я думаю, что Вы тоже сможете пережить потерю Ваших калош».

Подготовляясь к от'езду, мы раз'езжали с Фуксом по всей Риге на автомобиле, причем Фукс настоятельно потребовал, чтобы на автомобиле был поднят красный флаг. На переднем сидении рядом с шоффером сидел солдат с ружьем. Шоффер прикрепил красный флаг и таким образом мы стали предметом внимания глазевшей толпы. Мне доставляло мало удовольствия возбуждать всеобщее любопытство, Фукса же это, очевидно, очень радовало.

На следующее утро все было готово к от'езду. Латвийские советские власти предоставили для Фукса автомобиль с надежным шоффером, который должен был доставить Фукса, его спутников и багаж до Митавы, находящейся приблизительно в 40 кил. от Риги. Я со своей стороны предоставил ему для сопровождения до Митавы вооруженного солдата. Из Мита-

вы надежные латвийские коммунисты должны были проводить Фукса в санях по возможности до германской железнодорожной станции на германской границе.

От'езд должен был состояться в 12 ч. пополудни. Фукс имел оффициальный мандат, врученный ему советским правительством в Москве, в котором значилось, что все советские учреждения обязаны оказывать Фуксу и его спутникам на всем пути следования всякую помощь и содействие. Этот мандат был подписан Лениным, Троцким, Чичериным и — если я не ошибаюсь — и Каменевым. Фукс передал мне этот мандат на хранение, а я в свою очередь отдал мандат старшему солдатского конвоя с указанием, что эта бумага должна быть наготове в день от'езда.

Утром в день от'езда я напрасно искал старшего. Он пошел на рынок с целью закупки для себя и своих товарищей продуктов, которые он хотел везти в Москву. Я послал на поиски другого солдата, но старшего нигде нельзя было найти. Я сообщил Фуксу, что от'езд из Риги должен состояться не позже 12 часов, так как ему необходимо засветло выехать из Митавы. Я высказал свое сожаление по поводу того, что не могу отдать ему мандата, так как старшего, у которого он находится, нельзя разыскать.

Это привело Фукса в невероятное бешенство. Он заявил, что не может ехать дальше без мандата, что он пожалуется на меня в Москве, что это возмутительная вещь удержать его мандат здесь. Я пытался его успокоить и указал ему на то, что нужды в московском мандате у него нет, так как через границу его будут перевозить латвийские агенты. Было-бы, пожалуй. даже разумнее вовсе не брать с собой московского мандата, так как, если его в пути захватят с этим мандатом, то его песенка, наверное, будет спета.

Автомобиль стоял наготове у Двинского вокзала в Риге. В автомобиль сели Фукс, оба его спутника,

латвийский проводник и солдат из моего конвоя. Туда-же был погружен весь багаж. Неприятная сцена из-за мандата привлекла нескольких зевак. Я задержал автомобиль у вокзала еще на полчаса в надежде, что старший всетаки найдется, но время шло, а он не появлялся.

Тем временем Фукс успокоился. Я обещал ему, что лично передам Стучке на сохранение мандат с тем, чтобы мандат, как исторический документ, в конце концов попал в руки Фукса. Фукс и его спутники пожали мне руку, и Фукс заметил на прощание в виде извинения, что он ничего плохого этим не думал и что он мне очень благодарен за все то, что я сделал для него и его товарищей в пути.

Я подал знак к от'езду, и автомобиль покатил. Вооруженный солдат, который проводил Фукса до Митавы, вернулся после обеда на автомобиле обратно в Ригу и сообщил мне, что Фукс со своими спутниками уже выехал из Митавы.

Я распрощался со Стучкой, передал ему на хранение мандат Фукса, который тем временем был мне опять вручен старшим, накупил в Риге продуктов для своей семьи и друзей и в тот-же вечер выехал из Риги со всею стражей в вагоне прямого следования в Москву.

По дороге, на станции Режица и следующих станциях, я должен был смотреть со скрежетом зубовным, как советские «заградительные отряды» отнимали силой у несчастных крестьян, стоявших на станции, последний кусок хлеба и собранный хлеб погружали в мой вагон. Несмотря на явную жестокость, с какой отбирали хлеб у людей, которые, конечно, этим не спекулировали, а везли с собой как единственное питание в пути, я не мог рискнуть высказать какой-либо протест. Ведь это была грозная Ч. К., которая проводила в жизнь эти мероприятия. Солдаты моего конвоя, с которыми я был в самых лучших отношениях во время всего пути, ворчали, но боялись громко выска-

зывать свое неудовольствие. Я должен был взять с собой в вагон весь хлеб и чекистов и вернулся 6 января 1919 г. в Москву.

Как я потом слышал, Фукс со своими спутниками был благополучно перевезен через границу латвийскими коммунистами и в полной неприкосновенности прибыл в Берлин.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

В БРОНИРОВАННОМ ВАГОНЕ.

6-го января 1919 г. я возвратился из Риги в Москву. Я доложил комиссару по иностранным делам Чичерину об исполненном мною поручении и о последовавшем от'езде писателя Эдуарда Фукса в Берлин, после чего я опять занял свое место в комиссариате финансов.

Условия существования еще более ухудшились за это время, и я не без основания опасался, что нам предстоят еще более тяжелые времена. Вследствие каждодневного падения ценности рубля и чудовищного роста цен на продукты, маленького жалованья уже теперь не хватало на покупку самых необходимых продуктов питания как-то: мяса, жиров, хлеба, сахара, не говоря уже о покрытии расходов на другие нужды. Вообще в то время уже не существовало никаких продуктов питания на вольном рынке, их нужно было доставать с большим трудом из под полы.

Я жил тогда с моей прежней женой и семилетним сыном в маленькой, состоящей из пяти комнат, квартире моего тестя, старого московского врача. В той-же квартире жили, кроме тестя и сестры моей жены, еще насильно вселенный туда советский служащий, работавший в железнодорожном комиссариате, с женой и тещей. Было тесно, бедно, безрадостно, без всякой надежды на улучшение.

Мои старики - родители, которых война занесла с их родины — Курляндии — также в Москву, жили в двух комнатах, вместе с моей 26-тилетней сестрой, которая лежала безнадежно больною легкими. Ее смерти ждали с часу-на-час.

В виду того, что положение в Риге было несравненно лучше, чем в Москве, в чем я лично только что имел случай убедиться, и в виду того, что в Риге у нас было очень много родственников, я решил прежде всего отправить жену и сына в Ригу. Выезд в Ригу обычным путем был-бы связан в то время с необычайными трудностями и потребовал-бы бесчисленного количества удостоверений от всевозможных учреждений. Само путешествие было-бы сопряжено с величайшими неудобствами, так как регулярного пассажирского сообщения с Ригой тогда еще не было. Моя жена, которая стала в высшей степени нервна от всей тяжелой жизни, всячески протестовала против от'езда из Москвы, где оставались ее отец и сестра, и хотела только в том случае переселиться в Ригу, если я сам ее туда провожу. Это было совершенно невозможно из-за моей службы. Я напрасно старался найти кого-нибудь, кто-бы мог проводить жену в Ригу, и в этом безвыходном положении я схватился за совершенно необычное средство.

3-го января 1919 г. большевики захватили Ригу и провозгласили латвийскую советскую республику. Естественно, что эта республика должна была так же, как и прочие советские республики, снабжаться денежными средствами из центра. До войны Государственный банк в Петербурге снабжал всегда свое отделение в Риге деньгами, теперь также намеревались послать бронированный вагон государственного банка в Ригу с соответствующим запасом бумажных денег. Мне пришла в голову мысль отправить мою жену с сыном в Ригу непосредственно в бронированном вагоне Государственного банка. Я надеялся, что получу на это разрешение. Я обратился поэтому к Р., слу-

жащему комиссариата финансов, который заведывал отправками — прежнему чиновнику Государственного банка —, откровенно изложил ему сущность дела и попросил его помочь мне. Р. ответил мне:

«Хорошо, если комиссар финансов даст Вам разрешение на то, чтобы Ваша жена и ребенок ехали в бронированном вагоне, то я то уж наверное не буду чинить Вам препятствий. Кроме того Вы должны иметь разрешение старшего военной стражи, которая в качестве охраны сопровождает бронированный вагон».

Л. «Я все сделаю, чтобы получить оба разрешения. Когда и откуда идет вагон?»

Р. «Вагон идет из Петербурга».

Л. «Не может-ли вагон отправиться в Ригу из Москвы? Расстояние Москва-Рига почти такое же, как Петербург-Рига, и кроме того путь из Москвы в Ригу в настоящее время надежнее, чем из Петербурга».

Р. «Это уж совсем новый вопрос. Вы же можете отвезти Вашу жену с ребенком в Петербург и там поместить их в бронированный вагон».

Л. «Я этого не могу сделать. Вы сами знаете, как трудно получить место из Москвы в Петербург и как тяжела эта поездка. Кроме того я должен считаться с душевным состоянием моей жены, которая ни в коем случае не решится на это путешествие без меня. Помимо этого поездка в Петербург сопряжена с совершенно бесполезной тратой на проезд, которой я теперь не могу оплатить».

Р. «Хорошо, меня Вам убеждать нечего, я Вам охотно помогу, поскольку это зависит от меня. Я понимаю Ваше положение. Вопрос, отойдет-ли бронированный вагон из Москвы или из Петербурга, зависит не от меня. Все дело зависит от Ганецкого, директора Государственного банка. Обратитесь к Ганецкому. Если он согласится, дело в порядке. Но делайте это немедленно, ибо рижское отделение Государствен-

ного банка должно от нас получить деньги в самом скором времени» .

Я энергично взялся за дело и на следующий же день переговорил с Ганецким в присутствии Р. После долгого размышления Ганецкий согласился на то, чтобы бронированный вагон отошел из Москвы.

Бронированный вагон должен был отбыть 5 февраля 1919 г. вечером из Москвы в Ригу с 60 миллионами рублей бумажных денег и охраной из 12 солдат. Моя жена и мой маленький сын были единственными пассажирами этого вагона. Я уже в 3 часа пополудни проводил их на Виндавский вокзал. Извозчиков в то время не было, мы поехали на обыкновенных крестьянских санях, которые я с трудом добыл. Прощание с Москвой было тяжелое, безрадостное. Моя жена уезжала весьма неохотно. Ей было очень тяжело расставаться со своими родными. Она горько плакала, так как опасалась, что попадет из огня да в полымя. Наконец, мы достигли вокзала. Бронированный вагон стоял на запасном пути. Для того, чтобы не возбуждать внимания, моя жена и ребенок были посажены в вагон немедленно, задолго до отхода поезда.

Прежде чем проводить жену на вокзал, я еще утром пошел к своим родителям, чтобы навестить больную сестру. Она уж едва могла говорить. Это были последние слова, которые я от нее услышал, так как она умерла в тот-же день в 6 часов пополудни, еще до моего возвращения с вокзала.

Человеку, не бывавшему тогда в России, трудно понять, как тяжелы были в то время условия жизни в Москве даже для здорового человека, не говоря уже о больном. Все страдали от ужасного голода, недостатка денег, от невозможности зарабатывать на пропитание. Лекарства и медицинские препараты доставались с невероятным трудом. При таких обстоятельствах каждый тяжело заболевший человек обречен был заранее на смерть, если только природа не наделила его особенно сильным здоровьем.

Мне вспоминается один случай, который особенно ярко характеризует то тяжелое время. За три дня до смерти моя больная сестра выразила желание поесть какой-нибудь птицы. Моя старушка-мать, которая понимала отчаянное положение дочери, хотела достать во что бы то ни стало курицу или голубя и отправилась в сильный мороз пешком на отдаленный Сухарев рынок.

Этот рынок, занимавший громадную площадь с многочисленными боковыми улицами, которые на него выходили, был издавна самым большим толкучим рынком Москвы; здесь продавались все товары, какие только можно было себе вообразить. Картина, представлявшаяся здесь, была — только в более широком масштабе — та-же, что можно видеть и на Marché des Puces близ Porte de Clignancourt в Париже, на Rastro в Мадриде и на Petticoat Lane в Лондоне. Крестьяне, рабочие и мещане покупали там все, что им было нужно для хозяйства и для дома. Коллекционеры находили там среди всякого хлама очень ценные книги, картины и старинные вещи. Воры и укрыватели краденого сбывали там ворованное добро. Бедняки находили нужную им одежду, стоптанные сапоги и старое пальто. В Москве был еще один, подобный этому, рынок, но худшего сорта, Хитров рынок, на котором предлагались товары и продукты, не имевшие сбыта ни в каком другом месте. Покупателями Хитрова рынка были уже беднейшие из бедных и скрывающиеся от дневного света подонки большого города.

Уголовная полиция уж с давних времен в поисках за каким-нибудь преступником устраивала облавы на Сухаревом и Хитровом рынках, а также в прилегающих пивных и закусочных. В конце 1918 г. советское правительство начало беспощадную борьбу против всех торговцев с'естными продуктами, в особенности против «мешечников», т. е. людей, которые из большого города ездили в деревню, меняли там

какие-нибудь предметы домашняго обихода, мануфактуру или одежду на мешок муки и с этой мукой возвращались в город. Солдаты окружали рынки, арестовывали или задерживали торговцев, а с'естные припасы подвергали конфискации.

Моя мать как раз находилась на Сухаревом рынке и после долгих поисков нашла и купила курицу. С завернутой курицей в руках она стремилась пробиться через человеческую гущу, которая запрудила рынок, как вдруг началось какое-то движение, со всех сторон раздались крики, в воздухе послышались резкие свистки: рынок со всех сторон был оцеплен солдатами. В отчаянии моя мать бросилась к одной из боковых улиц и хотела бежать домой. Стоявший там на посту солдат не пропустил ее и оттолкнул назад. Моя мать, которая знала по русски весьма мало и поэтому об'яснялась лишь с большим трудом, повторяла со слезами: «Моя дочь умирает, пропусти меня!» Солдат вырвал у нее сверток из рук и, увидев, что там курица, не хотел ее отдавать. С рыданиями моя мать кричала: «Моя дочь умирает, это для моей дочери!» Солдат был тронут и проворчал: «Ну, ну, старуха, проходи, проходи, беги к дочери! Только вперед не попадайся, а то еще в тюрьму угодишь!»

Когда я с вокзала поспешил к родителям, моей сестры уже не было в живых. Погребение состоялось в пятницу, 8 февраля 1919 г., в 9 ч. утра. Это была самая безнадежная, отчаянная картина, которую только можно было себе представить. Жалкая похоронная колесница была запряжена такими истощенными, худыми конями, из которых один был гнедой, а другой вороной, что при всем трагизме положения нельзя было удержаться от искаженной улыбки. Не было и речи о черной попоне для лошадей. Сопровождающие похоронную колесницу служащие спешили, им предстояло еще перевозить много покойников в этот день, поэтому колесница была пущена такой рысью, что похоронное шествие не могло за нею следовать. Рас-

стояние между колесницей и шествием все росло, и, наконец, можно было видеть ее только издали, направляющуюся скорым ходом к кладбищу, которое находилось уже за московской заставой. Похоронное шествие рассеялось, и только самые близкие на трех санях доехали до кладбища.

Лишь с большим трудом удалось добиться того, чтобы моя сестра была похоронена в тот-же день до наступления темноты. Иначе ей пришлось бы лежать до понедельника в покойницкой, так как по субботам и воскресеньям могильщики не работали.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

САМОУБИЙЦА.

Я знал Гуго Т. очень хорошо*). Он был младшим братом моего лучшего школьного товарища. Это был скромный, добросовестный, вполне надежный человек; свою деятельность, в качестве конторского служащего, он начал на родине, в Курляндии.

После начала войны все евреи, в апреле 1915 г., должны были по приказу главнокомандующего русской армии, великого князя Николая Николаевича, в 24 часа оставить пределы Курляндии, в то время как их сыновья, солдаты русской армии, умирали за Россию на полях сражения близ лежащего фронта. Тогда и Гуго Т. должен был покинуть родину. При высылке евреев из Курляндии на вокзалах разыгрывались душураздирающие сцены. Высылали всех, мужчин и женщин, стариков и молодых, больных и здоровых. Даже из больниц для умалишенных вытаскивали сумасшедших, подвозили их к поездам и погружали для отправки в неведанную даль. Приказ главнокомандующего выполнялся слово в слово.

Таким образом, Гуго Т. прибыл в Петербург. Как еврей, он не пользовался в Петербурге правом жительства. Во время царского режима все евреи были скучены в так называемой «черте оседлости». К «чер-

*) Приведенные инициалы Гуго Т. не совпадают с настоящим именем.

те» относились Польша, Литва, Белоруссия и Юг России. Курляндия не относилась к «черте». В Курляндии имели право на жительство всего несколько тысяч еврейских семейств, которые уже долгие годы жили там и из которых целый ряд семейств поселился в этих местах еще до 1795 г., т. е. до присоединения Курляндского герцогства к России. Петербург и Москва, вся центральная Россия, весь север и восток, Кавказ, Центральная Азия, Сибирь и Дальний Восток были для евреев закрыты.

В областях вне «черты оседлости» могли жить только немногие категории привиллегированных евреев. К этим избранным относились окончившие университет и прочие высшие учебные заведения, купцы первой гильдии, потомки Николаевских солдат, т. е. тех еврейских солдат, которые в свое время отбыли 25-летнюю воинскую повинность в армии императора Николая I и пр.

По старому закону русский еврей, окончивший императорский университет с дипломом первой степени, имел право держать двух слуг из единоверцев. Этот закон мало-по-малу вышел из употребления, так как целью его было дать возможность еврею с высшим образованием, желавшему у себя дома соблюдать строгие предписания еврейского ритуала, держать еврейскую прислугу. На самом же деле еврейские интеллигенты России, почти без исключения, жили вне всякого еврейского религиозного ритуала. Они ели и пили то же, что и русские, работали по субботам и приспособлялись к русским условиям.

Тем не менее на основании этого старого закона Гуго Г. удалось поселиться у своего приятеля, еврейского присяжного поверенного в качестве «слуги» и таким образом, оффициально получить «право жительства» в Петербурге.

Революция застигла Гуго Т. уже в Москве, где он занимал место доверенного и личного секретаря

у своего родственника, купца и фабриканта. Его хозяин убежал из России, сейчас-же после большевистской революции, со всей семьей заграницу. Гуго Т. охранял оставленное имущество хозяина, пока это было возможно, пересылал ему с разными оказиями ценные вещи и деньги и в сущности был совершенно одинок в голодной Москве.

В совершенно подавленном душевном состоянии он пытался также бежать из Москвы заграницу. Он раздобыл каким-то путем в австрийском совете солдатских и рабочих депутатов в Москве австрийский паспорт, причем фамилия, означенная на нем, была очень сходна с фамилией Гуго Т. Но он был в таком нервном состоянии, что буквально дрожал от страху при мысли о том, что ему придется с этим фальшивым паспортом переезжать советскую границу. Гуго Т. заявился ко мне со своим австрийским паспортом и попросил у меня совета. Увидев, в каком душевном состоянии он находится, я посоветовал ему немедленно уничтожить этот «документ» и отправиться по своему подлинному паспорту к своему брату на юг России. Я нисколько не сомневался в том, что любой пограничный стражник по его виду догадается. что паспорт его фальшивый и что на этом основании он будет расстрелян. Гуго Т. послушался меня. уничтожил «документ» и начал приготовляться к от'езду на юг, где его брат в одном из городов занимал место старшего врача в больнице.

Это было начало февраля 1919 г., день его от'езда приближался. Я в то время уже не был в Москве. Гуго Т. упаковал в свой маленький ручной чемодан все свои наличные деньги, а также оставшиеся еще ценные вещи и поехал на вокзал. Громадная толпа стремилась захватить места в отходящем поезде. Гуго Т. тщедушный, слабосильный, напрасно старался попасть в вагон. Мужики, добивавшиеся мест, были сильнее его. Каждый пускал без стеснения локти в ход и отталкивал другого в сторону. Совершенно не-

понятным для него образом Гуго Т. был втиснут в вагон, где он с ужасом обнаружил, что его чемодан был вырван у него из рук. Без денег он был потерянный человек. В полном отчаянии он протиснулся из вагона на платформу, и ему удалось спрыгнуть, прежде чем поезд пришел в движение. Он бежал совершенно обезумевший вдоль уходящаго поезда и кричал, что у него украли чемодан. Все было напрасно, чемодан исчез.

Совершенно обессиленный, дотащился он пешком до своей квартиры, находившейся на другом конце города. В 9 ч. утра он вышел из дому, в 4 ч. после обеда, уже в сумерках, вернулся домой. Отправился в свою комнату. Хозяйка успела за это время все убрать и вынести кровать и стулья. У стены стоял только стол. Над столом торчал крюк, на котором висело прежде стенное зеркало. На полу в безпорядке валялось старое платье, разорванное белье, скомканная бумага и пара старых веревок, оставленных Гуго Т. Он схватил веревку, взобрался на стол, сделал петлю, укрепил веревку на крюке и надел петлю на шею. Затем оттолкнул стол прочь. Стол перевернулся.

К вечеру хозяйка, которая ушла после обеда, увидела к своему ужасу Гуго Т. лежащим на полу. Он был еще жив, но без сознания. Крюк не выдержал тяжести тела, и Гуго Т. упал на пол. Приведенный в сознание, он долгое время лежал в лихорадке. Добрые люди помогли ему и одолжили ему деньги на поездку. Он отправился к своему брату, который его поставил на ноги.

Теперь он живет у себя на родине, страшные воспоминания сгладились и он теперь совершенно здоровый человек.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

ПОЕЗДКА В ШВЕЦИЮ.

В начале февраля 1919-го года я вместе с инженером Р. Л. был командирован комиссаром торговли Красиным в Финляндию. Р. Л. был абсолютно честным и достойным доверия человеком, до революции занимал высокий пост на русской государственной службе и обладал большими познаниями и техническим опытом. Р. Л. должен был по поручению Главбума (главного управления бумажной промышленности) заказать в Финляндии технические запасные части, которые в России не выделывались и без которых нельзя было ни пустить в ход бумажных фабрик, ни производить на них дальнейшей работы. Я должен был помогать Р. Л. при выполнении этого важного и очень спешного поручения. Бывший доверенный банка В. Т., который уже работал в Берлине в советском посольстве в качестве моего сотрудника в октябре 1918 г. и которому и Р. Л. очень доверял, должен был провожать нас в Финляндию по исполнению того-же поручения. Вся поездка должна была продолжаться от 2 до 3 месяцев.

В то время я занимал видное место в ревизионной комиссии текстильного треста «Центротекстиль»; с большим трудом удалось мне испросить у означенной комиссии отпуск на несколько месяцев. И теперь предстояло со всей энергией преодолеть все трудно-

сти, стоявшие на пути и выполнить бесчисленные формальности, связанные с нашим от'ездом из Москвы. Мы получили целый ряд мандатов от Народного Комиссарата Торговли, Высшего Совета Народного хозяйства, от Главного Управления бумажной промышленности и, наконец, 15 февр. 1919 г. выехали из Москвы в Петербург. Нас ехало четверо: инженер Р. Л., я, В. Т. и его жена. Никто не провожал нас, ибо мы не хотели возбуждать чьего-либо внимания.

В Петербурге нужно было хлопотать о разрешении на выезд из России и в'езд в Финляндию. Трудности казались непреодолимыми, так как существовавшие в то время между Финляндией и Россией отношения можно было рассматривать по меньше мере как разрыв димпломатических сношений. На финско-русской границе, находящейся от Петербурга приблизительно в 40 минутах езды по железной дороге, каждый день происходили перестрелки между солдатами пограничной стражи. Во всяком случае, проехать в Финляндию легально с советским паспортом было невозможно.

Что было делать? Найти выход было очень трудно. В петербургском бюро комиссариата иностранных дел нам намекнули, что — так как мы едем по служебным делам — Наркоминдел нам будет визировать любой иностранный паспорт, снабженный нашей фотографией, который мы представим в канцелярию. Само собой разумеется, достать такой иностранный паспорт должны были мы сами. Наркоминдел в этом отношении помочь нам не может.

Это было достаточно ясно. Мы посоветовались друг с другом и хотели было отказаться от всей этой авантюристской и рискованной поездки. Но мы уже сидели между двумя стульями. Что же, Красин доверил нам весьма конфиденциальное и важное поручение, а теперь мы хотим отказаться от его выполнения из-за «чисто технических трудностей»! За это нас в Москве, наверное, по головке не погладили бы, а мо-

жет быть даже устроили-бы из этого ловушку! Ведь нетрудно же было-бы об'яснить наш отказ от поездки знаменитым «злостным саботажем».

Что ж нам оставалось делать? Так или иначе, но ехать было необходимо. С другой стороны, перспектива свободно дышать несколько месяцев вне условий московской жизни, возможность насытить свой голод и пожить в тепло натопленной комнате — вся жизнь заграницей манила к себе. Всего этого в то время обыкновенный обыватель, средний советский служащий был лишен. Мало того, что скудного советского жалованья едва хватало на покупку самых необходимых продуктов, советские служащие должны были еще бегать верстами в жестокую стужу из дома на службу, так как немногие извозчики были невероятно дороги и для них недоступны, а трамвайного сообщения почти не существовало. Зимой 1918/1919 г. советские служащие в Москве сидели в совершенно нетопленных конторах, в шубах или теплых пальто, в шарфах и галошах, и работали застывшими от холода пальцами.

От этого всего хотелось бежать. Для буржуазии существовало только одно положение: «Спасайся кто может». Видные партийные деятели, а также принадлежащие к партии советские служащие, занимавшие ответственные посты, и в Москве пользовались автомобилями, пролетками или санями, у них и в Москве были топленные квартиры и достаточное количество продуктов. Оффициальное жалованье было ничтожным даже у этих советских сановников, но это и не играло роли — главное был паек, который включал не только с'естные припасы, но и карточки на обувь и одежду.

Мы колебались между различными соображениями, так как у каждого из нас была тяжелая забота не только о себе, но и о своей семье. Мы решили, наконец, последовать «тонкому намеку», который был нам дан Наркоминделом в Петербурге и достать иностран-

ные паспорта, но выставленные на наши настоящие имена. Мы успокаивали себя тем, что мы фактически не совершали ничего предосудительного, противоречащего нашей совести, ибо мы действовали не по свободной своей воле, а под давлением непреодолимых обстоятельств. Жизнь все перевернула вверх дном, и даже мирный обыватель, не заинтересованный в политике, становился против своего желания авантюристом.

После долгих поисков нам удалось познакомиться с австрийским ротмистром Ю., который стоял тогда во главе комиссии по эвакуации из России австрийских военнопленных. Мы об'яснили ему наше положение и просили его выдать нам паспорта, выставленные на наше имя и удостоверяющие, что мы в качестве членов императорско -королевской австро - венгерской Миссии по делам военнопленных едем по служебному поручению заграницу.

Австро - венгерская Миссия военнопленных была причислена в свое время к секции «Б» датского посольства в Петербурге, так как во время войны Дания приняла на себя обязанности защиты австровенгерских интересов в России. Само-же датское посольство покинуло уже давно Петербург вместе с другими посольствами и миссиями. Остался только представитель австровенгерской Миссии по делам военнопленных, австрийский ротмистр Ю. После долгих разговоров ротмистр Ю. из'явил готовность выставить нам такие паспорта. О том, что мы советские служащие и едем по поручению советского правительства, мы ему, разумеется, не сообщили, но он, вероятно, догадывался, что мы не обыкновенные беглецы.

Каждый из нас получил большой консульский паспорт с датским, английским, французским и русским текстом, в котором датское посольство, «Секция Б», в лице ротмистра Ю. удостоверяла, что пред'явитель паспорта является членом императорско - королевской австро - венгерской Миссии по делам военно-

пленных и по служебному поручению едет из Петрограда в Вену через Гельсингфорс, Стокгольм, Копенгаген и Берлин.

В паспортах, снабженных нашими фотографическими карточками, были указаны наши настоящие имена и фамилии. Мы отправились с этими консульскими паспортами к начальнику Петербургского Бюро Наркоминдела, тов. Шкловскому, и тот, выслушав нашу историю, наложил на них визу на выезд из России.

Кроме того, мы выхлопотали от военного комиссариата особый пропуск через русско-финскую границу, так как вся местность к северу от Петербурга была об'явлена на военном положении, и, наконец, достали из канцелярии «Северной Трудовой Коммуны», во главе которой стоял тов. Зиновьев, бумагу для пред'явления пограничному комиссару в Белоострове с предписанием оказывать таким-то проезжающим «австрийцам» всякую защиту и содействие.

Таким образом, как будто, была улажена вся паспортная сторона дела. Но этим не устранялись еще финансовые трудности. По письменному ордеру Красина инженер Р. Л. получил в Государственном банке в Петербурге один миллион царских рублей, предназначавшийся для покупки запасных частей. Но что предпринять с царскими рублями, как препроводить без опаски такую крупную сумму в Финляндию для обмена на твердую валюту? Против запрета на вывоз рублей из России мы могли считать себя защищенными нашими мандатами. Но мы должны были быть готовы к тому, что и финские власти могут подвергнуть нас обыску. Может быть, существовал запрет на ввоз царских рублей в Финляндию, а если и нет, то мы не знаем в каком размере можно было ввозить их туда. Обо всем этом мы нигде не могли узнать с достоверностью. Во всяком случае, брать с собой деньги было опасно, и мы должны были искать ка-

ких-либо иных путей для верного провоза денег через границу.

С большим трудом удалось разрешить этот вопрос. Р. Л. уплатил 800.000 руб. одному оставшемуся в Петербурге иностранному учреждению, которое имело своих представителей в Гельсингфорсе и Стокгольме, и получил соответствующую квитанцию в уплате денег. Это учреждение обязалось выдать Р. Л. уплаченную им сумму в Гельсингфорсе или Стокгольме, по его желанию, в тех-же царских рублях за вычетом 5% комиссии. Остальные 200.000 руб. Р. Л. переслал другой оказией в финский банк в Гельсингфорсе, куда деньги хотя и действительно были внесены через два месяца на имя Р. Л., но которые тем не менее никогда не были ему выплачены и остались навсегда в банке, так как за это время все операции с царскими рублями в Финляндии были запрещены.

Одновременно мы узнали, что советское правительство разрешило швейцарскому посольству в Петербурге с тогдашним послом Жюно во главе, а также с прежним послом Ожье и целым рядом других проживавших в России швейцарцев, беспрепятственно выехать из Петербурга в Финляндию. Мы воспользовались этим случаем и добились разрешения ехать в том-же поезде.

Мы должны были вместе со швейцарцами ехать уже в конце февраля, но от'езд все откладывался из-за постоянно возникавших препятствий.

Наконец, от'езд был окончательно назначен на 2 марта 1919 г., в 8 ч. утра, с Финского вокзала в Петербурге. 1 марта я последний раз был в своей квартире, там оставалась моя младшая сестра с мужем, которые обещали мне по возможности оберегать квартиру. Я простился с моей сестрой и братьями и отвез в тот-же день к вечеру, на санках, мой скромный багаж на Финский вокзал.

2 марта, в 6 ч. утра, в темноте, я был уже на но-

гах и пошел пешком на далеко отстоявший от нас Финский вокзал. Шубу свою и зимнее пальто я оставил братьям. Пустынные улицы казались вымершими. Это было грустным прощанием с Петербургом. Я хорошо сознавал все опасности этого путешествия, но все же полагал, что через два месяца вернусь обратно.

Значительно раньше отхода поезда на перроне уже собрались все пассажиры, среди них также Р. Л. и В. Т. с женой. Незадолго до отхода поезда ко мне подошел предшественник Красина, прежний комиссар торговли Бронский-Варшавский, которого я знал еще из Москвы, и сказал внушительно: «Разрешите мне представиться, я — норвежский гражданин Вирдаль». Я понял, что и он едет с этим поездом заграницу с норвежским паспортом и хочет предупредить меня об этом во избежание могущих произойти недоразумений. Уже в поезде я ознакомил Бронского со всеми обстоятельствами моей поездки в Финляндию и познакомил его с моими спутниками. Бронский представил мне со своей стороны известного швейцарского социалиста Карла Моора, который также ехал из России в Финляндию с какой-то дамой.

В девять часов утра поезд двинулся и медленным темпом направился к Белоострову, куда прибыл только через 2 часа. Осмотр багажа и пассажиров продолжались целых пять часов. Экстерриториальных путешественников — членов швейцарского посольства — не осматривали вовсе; что-же касается всех остальных пассажиров, которых было человек 40, то их осмотрели и обыскали самым тщательным образом. Весь багаж был вскрыт и осмотрен очень основательно; помимо этого всех пассажиров подвергали самому детальному личному обыску в закрытом помещении, каждого по одиночке. Женщин обыскивала женщина, мужчин обыскивал мужчина. Одна старая дама — сестра бывшего председателя Государственной Думы Родзянко — ехавшая со своей дочерью и маленьким

внуком в Финляндию, появилась из комнаты, в которой ее осматривали, вся в слезах, и рассказывала, что осматривавшая ее женщина раздела ее до рубашки и велела ее снять. Старуха отказалась это сделать. Она указала на то, что на ней и так ничего не надето и что она ничего не прячет. Тогда женщина сама сняла с нее рубашку и подвергла ее самому подробному освидетельствованию. У нее ничего не нашли. Старая женщина плакала от гнева и возмущения и никак не могла успокоиться.

Хотя мы только имели с собою необходимые для поездки деньги и личные наши документы и не везли никаких драгоценностей, мы все же естественно не хотели подвергаться такой процедуре. Мы были снабжены советскими мандатами и свидетельством Зиновьева и были убеждены, что избегнем осмотра и обыска. Совершенно неожиданно в маленькую комнату для осмотра был вызван В. Т. Его подвергли тщательному освидетельствованию в самой неприятной форме и он вышел оттуда со смертельно-бледным лицом, весь дрожа от волнения.

Обыскавший его досмотрщик нашел у него в галстухе английскую пятифунтовую кредитку. Это было уже плохо. Но гораздо хуже могла кончиться история с его калошами.

В. Т. вложил в свои калоши, которые ему стали широки, старую бумагу. Эти обрывки бумаги были вынуты досмотрщиком, тщательно расправлены и поодиночке просмотрены. К ужасу В. Т. на одном из этих клочков досмотрщик прочел слова: «Патронов... 156».

«Что это Вы, гражданин, провозом оружия занимаетесь?» спросил он В. Т. грозным голосом.

В. Т. вырвал из рук досмотрщика клочок бумаги и прочел с бьющимся сердцем дальше: «планшайбы, суппорты и т. д.» Переведя дух он вернул ему бумажку со словами:

«А Вы, товарищ, оружие с токарными станками

путаете, ведь это список инструментов слесарной мастерской».

Досмотрщик все еще не доверял и продолжал освидетельствование. В своем рвении найти в нижней части тела яко-бы скрытые бриллианты, он был настолько груб, что В. Т. насилу удержался от того, чтобы не дать ему по физиономии.

Положение было очень неприятно. Р. Л. и я ни в коем случае не могли допустить, чтобы В. Т. и его жену из-за этого задержали на границе, ибо пограничный комиссар был всемогущ на своей станции и мог делать все, что он хотел. Поэтому мы обратились к нему, указали ему на удостоверение Зиновьева, протестовали самым энергичным образом против обыска, посвятили его в советско - служебный характер нашей поездки и просили его избавить нас от дальнейших освидетельствований.

Но пограничный комиссар не уступал.

«Здесь я распоряжаюсь, а никто другой. Пускай Зиновьев в Питере распоряжается. Кроме того, в Зиновьевском удостоверении только сказано, чтобы пред'явителям сего, проезжающим австрийцам, оказывалось всякое содействие и помощь. А о том, чтобы их самих и багаж не обыскивали, об этом нет ни слова».

Наша беседа ничего хорошего не обещала. Вдруг я вспомнил, что у Р. Л. есть с собой мандат от «Главбума» (Главного управления бумажной промышленности), в котором оффициально подтверждалось данное ему служебное поручение и в конце коего имелась пометка, что находящийся при нем багаж не подлежит осмотру. Я попросил этот документ у Р. Л. и представил его пограничному комиссару.

«Вам Зиновьевского удостоверения, очевидно, недостаточно, ну так вот Вам московский мандат. Вы видите, что дело идет об очень важной служебной командировке заграницу, а Вы нам палки в колеса вставляете».

Пограничный комиссар внимательно прочел документ и возразил:

«Почему-же Вы мне сразу не показали этой бумаги, ведь здесь ясно написано, что багаж осмотру не подлежит. Это совсем другое дело».

Я, конечно, не пустился с ним в рассуждения и не пытался ему доказывать, что удостоверение Зиновьева несравненно более важный документ, чем мандат Главбума. Но цель была достигнута. Пограничный комиссар распорядился, чтобы ни нас, ни наш багаж обыску больше не подвергали, и нас больше уже действительно не беспокоили.

У прочих пассажиров были конфискованы все взятые с собой золотые и серебряные вещи, так как по закону разрешалось вывозить из страны только весьма незначительное количество золота и серебра в виде монет и различных изделий. Такая-же судьба постигла и норвежского адвоката П. из Осло, который на короткое время поехал в Россию для изучения условий советской жизни. У него был с собой целый серебряный прибор и прочие предметы, которые он вынужден был оставить на границе. Он очень энергично протестовал против этого, но ничего не помогло.

На всякий случай мы взяли с собой до Белоострова моего прежняго секретаря тов. Л. Г., который держал при себе все наши русские паспорта, оффициальные документы и служебные мандаты. Мы должны были считаться с возможностью, что финские власти, несмотря ни на что, всетаки нас не пропустят, и тогда мы не сможем беспрепятственно вернуться в Россию. Я приказал Г., чтобы он ждал с нашими документами 24 часа на станции Белоостров. Если мы по истечении этого времени не вернемся, то это будет доказательством того, что наше путешествие идет гладко.

Наконец, в 4 ч, после обеда, осмотр багажа и пассажиров пришел к концу, и мы могли перешагнуть границу. Финско-русская граница проходила по реке Се-

стре. Речка эта была очень узенькая, около 7 метров в ширину, через нее перекинут был простой деревянный мост. Железнодорожное сообщение между русской пограничной станцией Белоостров и лежащей в двух километрах на финской территории станцией Раайоки было прервано. Пассажиры должны были были пройти эти два километра пешком, через деревянный мост. Багаж везли на санях.

Мы двинулись в путь в 4 часа после обеда, до наступления темноты, и дошли до деревянного моста. Во главе шел швейцарский посол Жюно. На мосту стояли представители финского правительства, которые сердечно приветствовали швейцарского посла и выразили радость по случаю благополучного вступления его на финскую территорию. Нас всех начали выкликать поименно и пропускать по-одиночке через мост. Карл Моор вне себя от злости должен был остаться в Белоострове, так как бумаги его спутницы не были вполне в порядке. Бронский, который уже стоял со своим багажем на мосту, по неизвестной мне причине также остался.

Безумная радость овладела швейцарцами и другими пассажирами, когда они очутились на финской территории. Они смеялись, шутили и держали себя так, как будто-бы с них гора свалилась. После длительного перехода по снежному полю мы добрались до станции Раайоки.

На этой сверкающей чистотой станции мы перешли в руки финнов. Наш багаж был подвергнут поверхностному осмотру, искали, главным образом, коммунистическую литературу. Такого обыска вряд-ли должен был опасаться кто-либо из пассажиров, и, действительно, осмотр очень быстро закончился.

До отхода поезда у нас еще было несколько часов. Мы жадно набросились на бутерброды с ветчиной и сыром, которые продавались в станционном буфете. Таких лакомств мы уже давно не видали.

В ожидании поезда Р. Л. гулял по вокзалу. К нему подошел господин, посмотрел ему внимательно в лицо и вдруг заговорил*):

«Ваше Превосходительство, Родион Матвеевич, Вы ли это! Как поживаете, как здоровье?»

Р. Л. вступил с ним в разговор, хотя и весьма неохотно. Оказывается, это был финский купец, знавший Р. Л. и по Петербургу, по службе в Министерстве торговли, и по дачной жизни, так как они оба были соседями по дачам в финском морском курорте Териоки. Что касается цели своей заграничной поездки, то Р. Л. пытался отговориться общими фразами. В России мол стало тяжело жить, поэтому он едет к своим друзьям заграницу. Но финн обнаружил весьма настойчивое любопытство. Он расспрашивал Р. Л. о том, как ему удалось проскользнуть через границу в Белоострове, так как он много наслышался об ужасах, которые проделывались красноармейцами над русскими, бежавшими через границу, в особенности над теми, которые занимали высокие посты в царское время. Он спросил Р. Л.:

«Как это Вам вообще удалось получить заграничный паспорт?»

Р. Л. «Возни было много. Я целый месяц хлопотал».

Финн: «Как же Вы назвались в паспорте, что к Вам не придрались?»

Р. Л. посмотрел на него с улыбкой и ответил:

«Очень просто. По паспорту я — австриец».

Финн посмотрел на Р. Л. с удивлением и воскликнул

«Как-же это так? Вы — австриец?»

Р. Л. вздохнул и коротко ответил: «Да».

Финн, окончательно смущенный. пробормотал что-то и исчез.

---

*) Приведенные здесь имя и фамилия не соответствуют настоящим.

Р. Л. вернулся к станционному буфету и рассказал нам о своей встрече. Ну, теперь заварилась каша, подумал я и стал ждать событий, которые и не замедлили наступить.

Для покупки железнодорожных билетов в Гельсингфорс мы должны были испросить разрешение станционного коменданта. Мы обратились к нему по немецки за разрешеним на покупку билетов и кстати на выдачу обратно наших паспортов. Станционный комендант весьма корректно спросил Р. Л.:

«Куда изволите ехать, Ваше Превосходительство?»

Р. Л. «Я со своими спутниками еду в Гельсингфорс».

Станционный комендант: «С какой целью?»

Р. Л. «Чтобы там разменять деньги для дальнейшей поездки».

Станционный комендант: «Вы, Ваше Превосходительство, в Гельсингфорс не поедете. Вы со своими спутниками сядете сегодня вечером в вагон, который идет прямо в Або и проследуете туда, не заезжая в Гельсингфорс. В Або Вы прибудете завтра в 2 часа пополудни. Вы останетесь в Або до вторника, а во вторник вечером Вы из Або пароходом выедете в Стокгольм. Деньги-же, если Вам нужно, Вы можете разменять и в Або. Мы уже позаботимся о том, чтобы Вам было оставлено 4 места на пароходе «Ойгонна», который во вторник вечером отправляется из Або в Стокгольм».

Р. Л. «А как-же с нашими паспортами?»

Станционный комендант: «Ваши паспорта будут прямо переданы комендантом поезда капитану парохода. Вы их получите при от'езде из Або».

Все это было сказано вежливо, но так решительно, что сопротивляться не имело никакого смысла.

Поэтому мы решили сдаться по хорошему и пока ехать в Або. После этого мы отправились в буфет и сели после долгого времени за настоящий обед.

Р. Л., несмотря на плохое настроение духа, обнаружил прямо-таки чудовищный аппетит.

В тот же день вечером мы отправились в Або. С нами ехало большинство швейцарцев. Мы приехали в Або в понедельник, 3-го марта, в 2 ч. дня, и были приняты местным швейцарским консулом. За это время на досуге мы могли основательно обсудить наше положение, весьма запутанное как в практическом, так и в международно - правовом отношении.

Мы знали, что финские власти будут настаивать на нашем немедленном выезде из Финляндии, но так как шведской визы на в'езд у нас не было, мы обратились к шведскому консулу в Або с просьбой выдать нам визу здесь или телеграфно испросить ее для нас в Стокгольме, дабы по приезде в Стокгольм виза была-бы уже готова. Консул, очень любезно принявший нас, выразил сожаление, что сам визы выдать не может, и заявил, что ответа из Стокгольма можно ждать никак не раньше, чем через неделю. Мы разменяли наши русские деньги в Або и, под давлением обстоятельств, решили предпринять навязанное нам путешествие в Стокгольм.

Во вторник, 4-го марта, в 9 часов вечера мы явились на пароход «Ойгонна» и узнали, что для нас оставлено 4 места в курительном салоне. Незадолго до отплытия парохода на пароход явился финский офицер таможенной стражи, вызвал нас поименно и выдал нам паспорта. Мы покорно сидели в углу курительного салона, как вдруг появился опять офицер таможенной стражи, козырнул по военному и обратился к Р. Л. со следующим вопросом:

«Это вы, господин Р. Л.?»

Р. Л. «Да, это я».

Офицер: «Скажите, профессор Алексей Матвеевич Л., который в прошлом году жил в Усикирко, Ваш брат?»

Р. Л. «Да, он мой брат».

Офицер: «Он ведь русский подданный?»

Р. Л. «Да».

Офицер: «А Вы — австриец?»

Р. Л. «Ну, да. Что же тут такого необыкновенного, что два брата подданные различных государств. Почему это Вас так интересует?»

Офицер: «Меня лично нисколько, но мое начальство этим интересуется».

Офицер таможенной стражи как-будто-бы удовлетворился полученным ответом, вежливо взял под козырек и вышел из курительного салона.

Резко прогудел сигнал к отплытию. Темная ночь окружала нас. С шумом пробивался пароход через ледяные массы, загромоздившие Абосскую гавань. Наше настроение было подавленное. Немедленно по получении паспортов мы обнаружили, что шведской визы на них не было. Пароход «Ойгонна» был финский, следовательно, являлся финской территорией, поэтому, в случае отказа Швеции впустить нас, мы были бы отправлены обратно в Або с тем-же пароходом. Наше положение было далеко не из блестящих. Мы фактически были вынуждены вступить на шведскую территорию без визы на в'езд. Возвращение в Финляндию, где финский купец уже успел разоблачить инкогнито Р. Л., без сомнения сопровождалось-бы для нас весьма неприятными осложнениями. Конечно, и в Швеции нас ожидали неприятности, но мы надеялись, что они будут не так страшны, как осложнения в Финляндии.

5-го марта, после обеда, в пять часов дня пароход прибыл в Стокгольм. Таможенные чиновники и врач явились на пароход, поверхностно осмотрели пассажиров и разрешили нам после этого сойти на берег. Когда мы пред'явили шведскому чиновнику наши паспорта, перед тем как оставить пароход, он обратил внимание на отсутствие на них визы на в'езд и весьма оживленно совещался со своим коллегою. Нас все же не задержали и мы с нашим багажем сошли на берег. Мы отправились в скромную гостинницу, нахо-

дившуюся недалеко от пристани, и переночевали там.

В Стокгольме, прежде всего, необходимо было выяснить наше правовое положение, так как, если-бы мы остались при наших паспортах, то Швеция, по всей вероятности, как и Финляндия, потребовала-бы от нас, чтобы мы ехали дальше через Копенгаген и Берлин в Вену, где вся наша махинация с паспортами была-бы, конечно, обнаружена. Поэтому мы решили немедленно изложить шведским властям чистую правду. Р. Л., однако, настаивал на том, что он, прежде всего,отправиться к своему знакомому русскому консулу Б. в Стокгольме, и обсудит с ним наше положение еще до нашей оффициальной прописки в полиции. Русский консул Б. находился на своем посту еще в царское время и был оставлен на этом месте Временным Правительством. Советско - русского консульства в то время в Стокгольме не было.

Посещение Р. Л-м русского консула имело для нас весьма неприятные последствия. О закупочных своих поручениях Р. Л. ничего консулу, разумеется, не говорил, но заявил ему, что он решил выбраться из России, так как он отлично знал, что предстоит ему и семье в голоде, холоде и советской обстановке. С этой целью были получены датские консульские паспорта. В революционное время этот шаг не может считаться предосудительным, тем более, что паспорта эти выданы на настоящее имя владельца. Р. Л. просил затем русского консула выдать ему новый русский паспорт на его имя, взамен датского консульского паспорта, и содействовать ему у шведских властей в получении разрешения на проживание в Швеции.

После этого признания консул отнесся к Р. Л. очень холодно, отнял у него датский паспорт и заявил ему, что он сейчас ничего определенного сказать не может и что он посмотрит, что можно будет сделать в этом направлении. Как потом выяснилось, консул немедленно сообщил обо всем и шведской полиции, и междусоюзному комитету («Comité interallié»).

Этот комитет состоял из представителей союзных держав и некоторых русских эмигрантских организаций, и имел целью наблюдать за притоком русских эмигрантов в Швецию и препятствовать проникновению туда большевистских агентов.

Гельсингфорс и Стокгольм были в начале 1919 г. центрами русской эмиграции, куда устремлялись все бежавшие русские аристократы и прочие состоятельные русские люди. Это было наиболее близкие к Петербургу заграничные города, и бегство из Петербурга в Финляндию, несмотря на все запретительные меры, все-же в некоторых пунктах было возможно. Стокгольм был тогда переполнен русскими и «Грандотель» был занят преимущественно русскими богатыми людьми.

Рано утром 8-го марта хозяин нашей гостинницы сообщил нам, что мы немедленно должны явиться в полицию. С нами в полиции обошлись весьма корректно, но внушительно указали на то, что мы проникли в Швецию без шведской в'ездной визы и этим нарушили шведский закон о паспортах. Мы изложили сущность дела, которая была уже и без того известна после признания, сделанного Р. Л. русскому консулу, и подчеркнули, что мы приехали из Финляндии в Швецию без шведской визы не добровольно, а вследствие давления финских властей. Мы заявили также оффициально, что датские консульские паспорта выданы на настоящее наше имя и просили о разрешении на пребывание в Стокгольме. Датские консульские паспорта мы должны были немедленно сдать полиции и остались таким образом в Стокгольме без всякого паспорта. Через некоторое время мы получили временное разрешение на двухнедельное пребывание.

Спустя некоторое время по приезде в Стокгольм, Р. Л. получил надлежащую сумму в царских рублях от представительства того учреждения в Петербурге, в котором он их сдал, за вычетом обусловленной комиссии. Царские рубли не котировались тогда оффи-

циально на Стокгольмской бирже. Ими торговали на вольном рынке частные лица и некоторые мелкие банкирские конторы и разменные кассы. Царские рубли падали в цене с каждым днем. Крупная сумма, выброшенная на рынок, могла-бы очень неблагоприятно отразиться на курсе. Поэтому мы должны были полученные Р. Л-м царские рубли менять на шведскую валюту постепенно: каждый день небольшими суммами. Нам удалось разменять таким образом в течение месяца все царские рубли приблизительно на 200.000 шведских крон. Мы составили протокол, в котором были обозначены точно все обмененные суммы, подписались все под этим протоколом и передали деньги Р. Л., который поместил их на свое имя в стокгольмский банк.

Р. Л. заказал необходимые для бумажных фабрик технические части не в Финляндии, а в Швеции, уплатил из своего текущаго счета соответствующие задатки и завязал таким путем деловые сношения с представителями шведской промышленности. Таким образом, Р. Л. удалось получить право на постоянное пребывание в Стокгольме. В. Т. за это время разыскал в Стокгольме своего старого приятеля, шведского инженера Ф., который принял его в качестве компаньона в свое дело и выхлопотал ему право на постоянное пребывание.

Мое же положение оказалось более трудным. Мне не удалось в такое короткое время завязать нужные знакомства, и я вынужден был в апреле, по истечении двухнедельного срока, опять просить о продлении права на пребывание. В этом мне было отказано, и мне указали, что я прежде всего должен ехать в Данию, так как ведь датское правительство через своего представителя в Петербурге дало мне возможность выехать заграницу. В силу этого Дания и должна мне дать разрешение на в'езд. Дания же отказала мне в выдаче в'ездной визы. В Россию обратно я также не мог вер-

нуться, так как все русские границы были совершенно блокированы.

За это время я успел ознакомиться со Швециею и оценить эту страну — одно из самых свободных государств всего мира — и был бы рад, еслиб я смог обосноваться в ней. Но я должен был подчиниться обстоятельствам и решил поэтому отправиться в Германию. Случай мне помог. Я встретил в Стокгольме одного знакомого, влиятельного коммерсанта из Германии, которого я уже давно знал. Он попросил за меня и через несколько дней я получил личное удостоверение, снабженное визой на в'езд в Германию.

Когда я оставлял прекрасную столицу Швеции, я и в помыслах не имел, что уже через год, в октябре 1920 г., я вновь появлюсь в Стокгольме — на этот раз уже с законной визой на в'езд — для того, чтобы вести переговоры с представителями шведской промышленности и шведских банков, с министром торговли, иностранных дел и с министром-президентом Швеции касательно крупных советских заказов на паровозы, которые для шведской промышленности представляли большой экономический интерес.

Но на самом деле это так и было.

21-го июня 1919 г. я прибыл из Стокгольма в Берлин, где мне удалось вскоре найти должность в одном банкирском доме.

Когда я в конце октября 1919 г. узнал о прибытии в Берлин неофициального советского представителя, Виктора Коппа, я посетил его на его квартире и подробно рассказал ему всю мою одиссею. Я заявил ему, что поручение Красина, насколько это возможно, выполнено наилучшим и точнейшим образом. Полученная сумма находится в распоряжении Р. Л. с целью оплаты заказанных им технических материалов. Я передал Коппу также копию протокола о последовавшем размене царских рублей. Я просил Коппа сообщить об этом подробно комиссару торговли Красину и комиссару финансов Крестинскому, а также

довести до их сведения, что возвращение в Россию фактически было невозможно, так как Финляндия никоим образом не разрешила бы нашего проезда.

Я обратился к Коппу, так как почтового сообщения с советской Россией тогда вовсе не существовало, а я сам не имел никакой возможности войти в сношение с Москвой. Я не хотел показаться перед Красиным и Крестинским в качестве злостного беглеца, тем более, что мои родители и братья тогда еще проживали в России и могли бы из-за меня подвергнуться самым тяжелым преследованиям.

Копп принял мой доклад и обещал мне препроводить его немедленно Красину и Крестинскому.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Ю. В. ЛОМОНОСОВ.

Профессор Юрий Владимирович Ломоносов несомненно одна из самых интересных личностей на советском горизонте.

Человек с громадными практическими и теоретическими знаниями в области всего железнодорожного дела, он занимал в царское время высокие посты в министерстве путей сообщения и имел титул превосходительства.

В 1901-1907 г. Ломоносов был профессором Киевского Политехнического Института, в 1912 г. — членом Инженерного Совета, в 1917 г. он был послан правительством Керенского в Соединенные Штаты Северной Америки в качестве члена чрезвычайного посольства, во главе которого стоял посол Бахметьев; в конце 1919 г. он вернулся в советскую Россию и был назначен членом президиума Высшего Совета Народного Хозяйства.

Способный инженер и организатор, авторитет по строительству локомотивов. Человек дела, любящий труд и чрезвычайно работоспособный. Человек в высшей степени одаренный, но с преувеличенным самомнением.

Педантически аккуратный в работе, строгий к себе и к своими сотрудникам, твердый и беспощадный в защите своих интересов, беззастенчивый в выборе

средств, своевластный и капризный в обращении с подчиненными.

С другой стороны, душа общества, очаровательный собеседник, остроумный рассказчик, всегда преисполненный желанием ослепить своих собеседников, своих друзей, своих гостей и привести их в состояние восторженного изумления.

Тонкий ценитель всех радостей жизни, брызжущий силой, не знающий преград, блестящий знаток кухни и погреба, восторженный составитель самых избранных меню.

Вечерком, в кругу друзей, за стаканом вина и в повышенном настроении, Ломоносов рассказывал напряженно внимавшим его словам слушателям разнообразные приключения из своей богатой переживаниями жизни.

Он рассказывал о своей службе в царское время, о Петербурге и о дворе, о своем участии в революции и об аресте царя, о своих американских впечатлениях, о всем пережитом в советской России и на советской службе. Он, конечно, переходил и на неисчерпаемую тему о женщинах и был знаменит своими совершенно неприкрытыми эротическими анекдотами, доказывавшими детальное и глубокое знание дела.

Может быть, рассказы из его жизни не всегда строго отвечали действительности. Значительная примесь фантазии была во всем этом несомненна. Но все передавалось так блестяще, с таким сверкающим юмором, а отдельные моменты обрисовывались так захватывающе и увлекательно, что сомнение в их правдивости в момент рассказа не приходило даже в голову.

Из всего обильного материала я передаю здесь только некоторые характерные для Ломоносова рассказы, лично мною от него услышанные; я стараюсь соблюсти по возможности и стиль рассказчика:

Матросская стража.

В 1919 г. мне предстояла длительная служебная поездка. Я ездил большею частью в салон-вагоне и стража моя состояла из матросов. Старшего этой стражи звали Семеном, это был крепкий, богатырского сложения матрос. Я знал, что на Семена я безусловно могу полагаться, и что он все исполнит, что я от него потребую, совершенно точно и хладнокровно.

Я позвал его и сказал:

«Семен, а Семен! Сегодня вечером на такой-то станции в мой вагон войдет один человек. Он высокого роста, в очках, у него маленькая бородка, понимаешь?»

«Есть».

«Ну так вот, этот человек будет ужинать в моем вагоне и после ужина перейдет в другой вагон, где он спит, понял?»

«Есть».

«При переходе в другой вагон с этим человеком произойдет несчастье! Ты понял, Семен?»

«Есть».

«И представьте себе, голубчик, несчастье действительно случилось, при переходе этот человек поскользнулся и свалился с вагона*)».

Комендант.

Осенью 1919 г. меня послали с очень важным служебным поручением на юг России. Дело было во время гражданской войны, все летело вверх тормашками, и мое поручение было довольно опасным. Я должен был внести порядок в железнодорожное сообщение, я должен был наладить скорейший пробег воинских поездов и ускорить подвоз с'естных припасов.

*) Соответствует ли этот рассказ действительности, я сказать не могу. Я считаю его вымыслом.

Мы прибыли на станцию Синельниково. Здесь комендант красно - армейской части поджег вокзал и разрушил часть железнодорожных построек. Немедленно по прибытии на станцию я потребовал этого человека к себе в вагон для того. чтобы он дал мне отчет в том, что натворил.

Но он забаррикадировался в вагоне и не хотел идти ко мне. Я послал к нему своих матросов и еще раз приказал ему явиться, в противном же случае по его вагону будет открыт огонь. После долгих колебаний человек сдался и явился ко мне. Он был в нетрезвом виде и пытался оправдаться, приводя в свою защиту самые жалкие доводы.

За мной стояла женщина, коммунистка, совсем еще молодая, и кричала, обращаясь ко мне: «Дайте мне это сделать! Я ему пущу пулю в затылок! Я убью его на месте!» Я посмотрел ей в глаза и мне сделалось страшно. Мне казалось, что передо мной стоял кровожадный зверь.

Я, конечно, имел право немедленно расстрелять этого человека на месте, но я предпочел послать его под конвоем в военный суд в Харькове с кратким докладом обо всем, что он натворил на станции.

Через несколько дней я, разумеется, получил известие, что он приговорен военным судом к смерти и что приговор приведен в исполнение.

«Вы видите, мой друг, обошлось и так».

Секретарша.

Однажды после длительной служебной поездки я приехал в Москву и был доволен, что мог отдохнуть, наконец, несколько дней. Свою секретаршу я отпустил и она полетела к своему мужу, молодому инженеру. Вы его, наверное, знаете, я прозвал его «г...ожуем». Когда он говорит, кажется, что у него полон рот.

Вдруг я узнаю, что я должен в тот-же вечер ехать

в Ревель по очень важному делу. Я велел протелефонировать своей секретарше с приказанием придти в 3 часа ко мне. Она не является. Вы знаете, до чего я аккуратен. Уже 3 часа, а ее все нет. Я думаю, не хочет с мужем расставаться. Половина четвертого, а секретарши нет!

В 4 часа зову я своего верного Семена и говорю:

«Семен». — «Есть». — «Вот адрес, ты найдешь мою секретаршу, найдешь во что-бы то ни стало и приведешь ее ко мне, мертвую или живую!»

«Ну, Вы понимаете, конечно, секретарша явилась ко мне в тот-же вечер, живая, не мертвая!»

***

Ломоносов был большой гастроном и ел только в самых лучших ресторанах. Он любил хорошо и много выпить и хвастал тем, что голова у него всегда свежая, сколько-бы и что-бы он ни пил.

Он заказывал всегда самые дорогие и тонкие вина. После того, как он убедился, что я вина не пью, он часто говорил мне за обедом:

«Я Вам даже и не наливаю, было бы непростительно, чтобы стакан такого замечательного вина пропадал даром. Господь Бог хорошо знал, для чего он создал виноград».

Однажды он сказал мне в сердцах:

«Вас можно только глубоко пожалеть. Какая досада, что Вы непьющий, что и Вы при случае не можете раздавить бутылочку. Вы лишаете себя самого большого наслаждения в жизни, Вы лишаете себя даже возможности приобрести настоящих друзей, ибо пьющий всегда должен опасаться непьющего».

Однажды я должен был завтракать с двумя видными представителями германской промышленности. Ломоносов не мог принять участия в завтраке и попросил меня угостить приглашенных самым изысканным образом. «Бросьте Ваши демократические принципы, угостите их на славу!»

Я заказал для них очень хороший завтрак, но мой счет всетаки далеко не достиг тех головокружительных высот, до которых доходили завтраки, устраиваемые Ломоносовым. Перед моими глазами всегда стояла голодная Москва и я не мог отделаться от дикого противоречия между московскими «очередями» и «пайками» и этими лукулловскими обедами.

Когда я представил Ломоносову счет, он подпрыгнул как-будто ужаленный змеей: «Да что-же это такое, такой маленький счет? Да что Вы их, г...ом кормили, что-ли?».

***

20-го декабря 1920 г. вечером мы отправились с Ломоносовым в Эссен для ведения переговоров с представителями германской тяжелой промышленности по поводу организации смешанного русско-германского акционерного общества.

Столкнувшись осенью 1920 г., в течение переговоров о помещении в Швеции и Германии крупного советского заказа на паровозы, с громадными трудностями, стоявшими на пути возобновления торговых сношений между Советской Россией с ее монополией внешней торговли и капиталистическим миром, я развил Ломоносову свою идею об организации русско-германского смешанного общества, акционерный капитал коего был бы разделен поровну между советским правительством и заинтересованной отраслью германской промышленности или торговли.

Я выработал по этому вопросу особый доклад и передал его Ломоносову перед его поездкою в Москву, 21 октября 1920 г. Ломоносов выступил в Москве горячим защитником моей идеи. 30 октября он послал мне из Москвы радиотелеграмму в Берлин:

«Ваше предложение об Обществе встречено с большим интересом. Оно будет обсуждено в субботу в Совнаркоме.», а 3 ноября он телеграфировал мне из Ревеля:

«Ваша идея Общества одобрена».

После принципиального одобрения идеи о смешанном обществе Советом народных комиссаров, я немедленно взялся за ее осуществление. Я обратился к известному промышленному деятелю Георгию Романовичу Шпис*) и просил его выработать Устав нового Общества. Через месяц Шпис представил подробно разработанную им докладную записку, а также проект Устава предполагаемого Общества, которое он назвал: «Русско - среднеевропейское общество по товарообмену» («Russisch - Mitteleuropäische Warenaustausch-Gesellschaft»).

Наша поездка в Эссен, которая последовала с согласия фирмы Крупа, предварительно ознакомившейся с докладной запиской и Уставом предполагаемого Общества, должна была быть первой попыткой зондировать почву относительно реальной возможности предполагаемой совместной работы. В нашей поездке, кроме Ломоносова и меня, участвовал еще Г. Р. Шпис и приятель Красина, позднейший советский торгпред в Берлине, инж. В. В. Старков.

Мы остановились в гостинице Круппа в Эссене и явились 21 декабря после обеда в здание Главного Правления фирмы Крупп. В комнате рядом с той, в которой мы ожидали, происходило в это время совещание виднейших представителей германской тяжелой промышленности, в котором принимали участие Гуго Стиннес, Август Тиссен и еще несколько лиц. Мы были приглашены фирмой Крупп на заседание к 5 часам после обеда. С некоторым опозданием в нашу комнату вошел директор Крупповского концерна, д-р Брун, и сообщил нам, к крайнему нашему изумле-

*) Г. Р. Шпис был глубоко образованный и весьма способный человек, лет 60, член богатой и влиятельной немецкой купеческой семьи в Москве, который в свое время стоял во главе крупных коммерческих, угольных и нефтяных предприятий России и Румынии. Я работал под его руководством в разных промышленных предприятиях и меня с ним связывала долголетняя дружба. Он умер в 1926 г.

нию, что присутствующие на совещании представители тяжелой промышленности отказываются вступать с нами в данный момент в переговоры по поводу учреждения смешанного русско-германского общества. Он лично этим очень огорчен и попытается переубедить своих коллег, пока же он просит нас еще подождать. Совещание промышленников в соседней комнате продолжалось, и нам пришлось прождать еще целый час.

Через час Брун нам заявил, что после тщательного обсуждения вопроса, представители германской тяжелой промышленности пришли к заключению, что момент для ведения переговоров о смешанном обществе еще не наступил. Брун выразил крайнее сожаление о том, что нас напрасно вызвал в Эссен, и извинился по этому поводу перед Ломоносовым. Брун вместе с тем заявил, что фирма Крупп относится к предполагаемой совместной работе определенно сочувственно, но что мнение его фирмы в этом вопросе прочими представителями германской тяжелой промышленности, к сожалению, не разделяется.

Когда мы в тот же вечер уезжали из Эссена в Берлин, Ломоносов раздраженно сказал мне: «Крупп не разрешает нам уплатить в гостинице по счету, так как мы здесь считаемся его гостьми. Против этого я ничего не могу сделать, но подарков я от него не хочу. Нужно раздать всем служащим в гостинице такие чаевые, чтобы они нашего пребывания во век не забыли. Нужно заплатить им по-царски».

Отрицательный исход Эссенской поездки был для нас всех, в особенности же для Ломоносова, чувствительным ударом.

Это было для него тем более неожиданно, что Ломоносов еще в сентябре 1920 г. посетил завод Круппа в Эссене и об'ехал главнейшие германские паровозные заводы, где он всюду был встречен с большим уважением.

Я провожал его в этой поездке, и по его просьбе выехал из Эссена в Гамборн для знакомства и создания личного контакта с влиятельнейшим «Капитаном германской индустрии», Августом Тиссен.

10 сентября 1920 г. я встретился в Гамборне с Августом Тиссен, которому в то время уже было свыше 80 лет, и вел с ним в течение двух часов весьма оживленную беседу. Это был чрезвычайно живой человек, который проявлял большой интерес к совместной работе с советской Россией, как в смысле выяснения деловых выгод, которые можно было бы извлечь от советских заказов, так и с точки зрения общеполитической. Его вопросы были ясны и сжаты и очевидно таких же ясных ответов он ждал и от меня.

Тогдашние переговоры с Круппом послужили основанием для позднейшего активного участия, которое приняла германская промышленность и германская торговля в хозяйственном строительстве советской России.

***

У Ломоносова была ужасная привычка — не исчезнувшая в России еще поныне, даже у людей самого лучшего общества, — давать волю излишку своей энергии, своему недовольству и своему возмущению самой площадной бранью и ругательствами.

Эти ругательства, взятые из скатологии и самой низменной эротики, превосходили самое худшее, что можно только услышать в каком-нибудь портовом притоне.

Это случалось не только поздно вечером в сильно-подвыпившей компании, это случалось, чему верится с трудом, даже во время самых серьезных совещаний.

В одной из роскошных гостиниц Берлина, 4 сентября 1920 г., у нас было заседание с участием представителей германской паровозостроительной промышленности. За большим круглым столом сидело

около 20 лиц. Ломоносов, не знавший немецкого языка, председательствовал, а я должен был вести переговоры на русском и немецком языках. Переговоры затрагивали исключительно технические и финансовые вопросы, и Ломоносов ставил известные требования в отношении заказываемых им паровозов. Часть заводов не хотела или не могла принять известного требования, и начались оживленныя прения.

Ломоносов все больше раздражался, нервничал, повторяя мне неоднократно: «Заводы должны согласиться!» Я сохранял хладнокровие, так как знал, что если удастся чего-либо достигнуть, то только с помощью корректных переговоров, и переводил Ломоносову добросовестно все возражения отдельных заводов. Возражение одного из заводских директоров в особенности вывело его из себя и в бешенстве он произнес такое ругательство, что я в первый момент совершенно остолбенел. Я не мог себе представить, что он осмелится на оффициальном заседании, хотя присутствующие и не понимали по русски, произнести что-либо подобное. Ругательство это, конечно, перевести было нельзя, но смысл был ясен, а именно: или заводы принимают мои требования, или заказ не будет передан. Я сейчас-же овладел собой и заявил всем присутствующим в вежливой, но решительной форме, что Ломоносов настаивает во что-бы ни стало на своих требованиях, в противном случае дальнейшие переговоры не имеют смысла.

Когда заседание кончилось, ко мне подошел представитель одного из крупнейших заводов и сказал мне:

«Много лет тому назад я учился в Риге, русского языка я никогда как следует не знал и то, что знал, уже перезабыл. Но скажите, пожалуйста, действительно-ли это было или мне показалось, что профессор Ломоносов незадолго до конца заседания произнес по русски одно из самых ужасных ругательств, которое только можно себе представить».

Я сухо ответил:

«Видно, что Вы совершенно забыли русский язык. Как Вам могло придти в голову, что представитель правительства во время оффициального заседания произнесет что-либо подобное? Это-же совершенно невозможно»!.

Представитель завода весьма смутился и возразил:

«Да, да, конечно, я, действительно, не знаю, как мне это пришло в голову. Это совершенно невозможно, но мне так показалось. Не подлежит сомнению, что я ослышался».

* * *

Ломоносов и Красин были в очень натянутых отношениях из-за крупных заказов на паровозы и других разногласий. Так как и Ломоносов и Красин — оба были самодержцами, то эти разногласия часто приводили к взрывам едва сдерживаемой ненависти. Ломоносову было чрезвычайно тяжело подчиниться Красину в своей кровной сфере, а Красин никогда не упускал случая показывать Ломоносову свою власть.

Ломоносов считал нужным выдавать себя в разговорах со мной за убежденного большевика, хотя и не принадлежал к коммунистической партии; однажды он рассказал мне, что в молодости, во время первой революции 1905 года, он работал активно вместе с Красиным в одной нелегальной революционной организации, а именно в военно-технической секции, в которой подготовлялись террористические акты.

Я по своему собственному опыту знал революционно-политическую среду 1905 г. и поэтому отнесся весьма безразлично к этому сообщению. Я никогда не верил в его безусловную лойяльность в отношении советского правительства.

Тем менее у меня было основания принимать всерьез его революционное товарищество с Красиным, ибо однажды он дал мне в своей своеобразной

форме следующую характеристику Красина:

«Да, видите-ли, Красин, это большой человек! Его дедушка, надо Вам сказать, был просто каторжник, грабил на большой дороге и жил да поживал в Сибири.

Отец его уже был купцом на Нижегородской ярмарке, понимаете ли? Недурно, вероятно, облапошивал своих покупателей.

А он? Он, видите-ли, народный комиссар внешней торговли!

Да, большой человек!»

Я, конечно, знал, что все это благородное родоначальное дерево было выдумано Ломоносовым с начала до конца, но вскоре я имел случай убедиться, что Красии о политических взглядах Ломоносова не такого еще миения.

Я сопровождал Красина 3 марта 1921 г. во время его поездки из Берлина в Ганновер, на пути в Англию. У меня, таким образом, была возможность в продолжении 3 часов без помехи один-на-один беседовать с Красиным в маленьком купэ вагона. Между прочим, мы коснулись также его отношеиий с Ломоносовым. Красин решительно заявил, что утверждеиие Ломоносова, что ои совместно с Красиным в 1904-05 г. работал в одиой с иим революциониой организации, определеиио выдумаио. Красин никогда ие встречал Ломоиосова на революционных путях, но зато он знает, что Ломоносов в царское время, в качестве правоверного монархиста и реакциоиера, сделал хорошую чиновничью карьеру, увенчавшуюся при его способиостях видным местом в мииистерстве путей сообщеиия и генеральскими эполетами. Ои уверен, что Ломоносов ие только играл роль реакциоиера, а иа самом деле был чериосотеиных убеждений и что у него карьера и достижеиие жизнениых благ являются едииственным идеалом.

Коиечио, Ломоиосов способиый инженер и, может быть, выдающийся ученый в своей области, ио он

без всякого сомнения политический авантюрист с непреодолимым стремлением к власти и самым смехотворным тщеславием, который ищет власть там, где он ее находит. «Я не верю в его революционные убеждения», сказал Красин. «Я убежден, что он нас всех продаст, если к этому представится случай, и если цена ему покажется достаточно высокой».

**
*

То, что политическая оценка Красина не взята просто с воздуха, иллюстрируется следующим разговором, который я вел в Берлине с моим коллегой, профессором Влад. Френом, вторым заместителем Ломоносова в железнодорожной миссии и его долголетним сотрудником в министерстве путей сообщения.

Я спросил Френа, всегда-ли Ломоносов был так революционно настроен, как теперь. После некоторого размышления Френ ответил:

«Я не знаю, может быть, это и так. Но если действительно он уже в то время был столь убежденнным революционером, то он во всяком случае сумел так прекрасно скрывать свой революционный образ мыслей, что и догадаться об этом нельзя было.

Много лет тому назад я должен быть явиться к Ломоносову с оффициальным докладом. Вы знаете, что у него нельзя опоздать ни на минуту. Я сломя голову бросаюсь из дому и поспеваю как раз во время.

По дороге я вспоминаю, что за несколько дней до того появился новый приказ, согласно которому эполеты на мундирах должны быть изменены и заменены новыми. У меня в те дни как раз не было времени думать о таких пустяках и я не успел купить новые эполеты.

Я заявляюсь к Ломоносову как раз во время и прошу обо мне доложить. Ломоносов очень строго меня рассматривает и набрасывается на меня:

«Вы так являетесь перед начальством?»

«Т. е. как это?»

«Разве вы не читали нового приказа относительно эполет?»

«Разумеется, читал, но у меня еще не было свободного времени, чтобы пойти к портному и заказать новые эполеты».

«Берите пример с меня! Почему у меня нашлось время? Я не меньше Вашего, кажется, занят. Запомните раз навсегда: Служба — службой, приказ - приказом».

И Френ, энергия коего в течение долгих служебных лет была совершенно сломлена личностью Ломоносова, закончил покорно:

«Не знаю, может быть, это все революционно. Я в политике ничего не смыслю, но мне это казалось совсем иным».

***

20 ноября 1920 г. Ломоносов, возвращаясь из Москвы, прибыл в Стокгольм на пароходе из Ревеля. Он добился в Москве утверждения заказов на паровозы и привез на пароходе первый транспорт золота и целый штаб инженеров. Я ожидал его вместе с несколькими другими лицами на пристани в Стокгольме. Не успел он сойти с парохода на землю, как он подошел ко мне, пожал руку и сказал шутя:

«Ну, поздравляю Вас, Вы теперь Ваше Высокопревосходительство, действительный тайный советник, особа второго класса, товарищ министра». И затем серьезно добавил: «Вы оффициально назначены моим заместителем, а я действую на правах Народного комиссара».

Ломоносов, очевидно, еще охотно оперировал формулами царской бюрократии. Мне эти формулы казались тенями давно - прошедшего времени.



16 октября 1920г. у нас была аудиенция в Стокгольме у шведского министра - президента Брантинга.

Нам пришлось очень долго ждать. Нервно, в удрученном состоянии Ломоносов ходил взад и вперед по приемной, и сказал мне с видимой грустью:

«Да, в прежние времена русскому министру не пришлось бы так долго ждать у шведского министра-президента, это было-бы совершенно немыслимо. Теперь, к сожалению, другие времена. Теперь мы и в Швеции нуль и ничто. Теперь мы должны сидеть смирно на стульчиках и ждать, пока господину министру-президенту благоугодно будет нас принять.

Кстати, Брантинг ведь социал-демократ. Его титул, правда, Превосходительство, но как нам его называть? Как Вы думаете? Превосходительством или товарищем?»

Я возразил Ломоносову, что мы на приеме не у социал - демократического члена парламента Брантинга, а у шведского министра-президента. Поэтому мы должны его величать полагающимся ему титулом превосходительства. Если в данном случае — при приеме представителей советского правительства — Брантинг не захочет, чтобы его называли превосходительством, то он нам, конечно, об этом сам скажет.

Брантинг принял Ломоносова и меня очень корректно, очень холодно, без малейшего намека на какие либо товарищеские отношения в политическом смысле. Мы все время величали его превосходительством, и он нас не прерывал. Не было никакого основания называть его «товарищем».



23-го ноября 1920 г. мы обедали вместе с Ломоносовым в гостинице Континенталь в Стокгольме. Ломоносов прибыл за 3 дня до этого после бурного морского переезда из Ревеля и чувствовал себя физически все время очень плохо.

За столом он страдал от жестоких желудочных болей. Совершенно неожиданно он назвал мне имя

одного шведского банкира Н. Н., с которым у него были крупные деловые разногласия и которого он ненавидел всеми силами души, и сказал:

«Я знаю, я отравлен, Н. Н. меня отравил».

«Что Вы такое говорите, Н. Н. Вас отравил? Как это Вам в голову пришло? Мы-же оба постоянно вместе едим!»

Ломоносов вскочил, посмотрел на меня выпученными глазами, поднял на меня кулаки и закричал:

«Как это, и Вы не верите, что этот суб'ект отравил меня? *Вы* мне тоже не верите?»

Так как я видел, в каком возбуждении он находился, а мы сидели в обеденное время в переполненном гостями зале ресторана, то я ответил ему в успокаивающем тоне:

«Конечно, если Вы себя так плохо чувствуете, то эта возможность не исключена. Мы сейчас-же должны послать за врачем».

Я успокоил его, как только мог, и проводил из обеденного зала в его комнату наверх. Я сейчас-же послал за сестрой милосердия, которая принялась за ним ухаживать. Призванный врач установил тяжелое расстройство желудка, однако, без всяких признаков отравления.

Подозрение против Н. Н. было смешной, ни на чем не основанной фантазией. Ломоносов-же и впоследствии был твердо убежден в том, что Н. Н. действительно его отравил.



У Ломоносова была привычка давать людям, которые ему были не симпатичны, насмешливые прозвища. Он дал этому банкиру Н. Н. — еще до пресловутого «отравления» — правда, очень остроумное, но в высшей степени злое прозвище, которое получалось из искаженного перевода его настоящего имени на русский язык. Это прозвище было совершенно не ли-

тературным, тем не менее Ломоносов дал распоряжение о включении его, как условного слова для обозначения имени банкира, в оффициальный код, которым мы пользовались для служебных телеграмм.



По поводу выбора им своих сотрудников, Ломоносов рассказал мне следующий случай:

В ноябре 1920 г. Ломоносов был в Москве. Ему нужно было добиться утверждения Советом Народных Комиссаров уже заключенного им условно договора на постройку паровозов. Внезапно до его сведения дошло, что Комиссариат Путей Сообщения решил дать ему еще одного инженера в качестве технического заместителя, кроме тех, которых он сам взял на службу для Железнодорожной Миссии заграницей. Ломоносов был этим очень возмущен, так как он хотел выбирать своих главных сотрудников сам и отнюдь не желал, чтобы их ему навязывали со стороны.

Ломоносов намеревался уже пойти в Комиссариат и энергично протестовать против назначения неизвестного ему заместителя. Предварительно он всетаки справился о том, кто этот человек. Он узнал, что это русский инженер Романов, 45-ти лет, имеющий за собой известное революционное прошлое, что он очень добросовестный работник, но что он страдает воспалением среднего уха в тяжелой, неизлечимой форме, которое повлекло за собой сильную глухоту. «Вот что, сказал я себе, он глухой, ну тогда давайте сюда, лучшего заместителя я и представить себе не могу!» Ломоносов сейчас-же согласился на назначение инженера Романова в качестве своего технического заместителя и вызвал его в Стокгольм. Само собой разумеется, что Романов играл у Ломоносова самую жалкую роль, так как его почти абсолютная глухота не только препятствовала ему в участии в перегово-

рах и деловых совещаниях, но и затрудняла его активную работу в технической области.

Ломоносов, таким образом, ничего уже не возражал против навязанного ему «ока Москвы» и заваливал Романова массой конторской работы технического характера.

⁂

Сводя все вместе, можно сказать, что проф. Ю. В. Ломоносов является противоречивой натурой, сильною личностью с авантюристским складом характера, в рядах видных советских деятелей резко выделяющеюся, совершенно своеобразною фигурою.

Впрочем, советская карьера Ломоносова, как и следовало ожидать, внезапно пришла к концу. Ломоносову пришлось переносить самые тяжелые обвинения со стороны своих противников и врагов, в особенности обвинения в технических ошибках, которые он якобы совершил при заказах на паровозы. Он будто-бы заказал паровозы слишком тяжелого типа для русских дорог. Некоторые его противники доходили даже до безусловно ложного утверждения, что он сделал это заведомо и с намерением и вызвал таким образом сознательно слишком тяжелую нагрузку и слишком быстрое изнашивание рельс и подвижного состава. Ломоносова постепенно свели на нет и руководство железно-дорожной миссией перешло к коммунистам. Ломоносову же предоставлялись на рассмотрение только научно-технические вопросы. Но и эта его деятельность пришла к концу. Летом 1927 г. Ломоносов был смещен окончательно, и ему было приказано очистить в 24 часа занимаемую им в Берлине служебную квартиру.

Советская Россия потеряла в его лице одного из самых выдающихся специалистов по железнодорожному строительству. Ломоносов теперь работает в качестве специалиста по тепловозам на крупном паровозостроительном заводе в Северной Америке.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Л. Б. КРАСИН.

Я познакомился с комиссаром торговли, инженером Леонидом Борисовичем Красиным, в начале декабря 1918 г. в Москве; я и один из моих друзей, выдающийся инженер, явились к нему на квартиру, занимаемую им в гостиннице «Метрополь». Вопрос шел о постройке нефтепровода из Грозного в Новороссийск.

Красин, которому я вручил рекомендательное письмо, принял меня очень любезно. Обе комнаты, которые он занимал, были неубраны и неуютны. На столах лежали в беспорядке книги, чертежи, папки. На подоконниках стояли стаканы с холодным чаем и тарелки с остатками еды.

На Красине был надет темный кожаный костюм, кожаные штаны и гамаши. Без всяких предисловий, обычных в деловых сношениях в России, Красин сейчас-же приступил к сути дела, обсудил в короткой и деловой форме технические и коммерческие вопросы, стоявшие в связи с проектом, обрисовал в общих чертах главную задачу проэкта и поручил моему другу составление в кратчайший срок ясного, по возможности краткого доклада.

Красин произвел на меня и моего друга самое лучшее впечатление. В особенности потому, что он выделялся на тогдашнем московском фоне своей краткою и ясною деловитостью. В то время было извест-

но, что если вы являетесь к какому-нибудь видному советскому сановнику, то вас непременно встретит целый поток фраз и соображений обще-политического характера, которые с непосредственной темой, с деловой целью вашего посещения ничего не имеют общего. Это об'ясняется вполне естественно тем, что комиссары первых лет русской революции принадлежали большой частью к прежним, нелегально существовавшим в России или находившимся заграницей революционным русским организациям; это были чаще всего профессиональные политики, литераторы или журналисты, которые в единичных случаях имели блестящую теоретическую подготовку, но совершенно не были знакомы с практической хозяйственной деятельностью и никогда не имели случая до революции разрешать административные или организационные задачи на практике. Поэтому в первое время они часто становились жертвами всевозможных составителей проектов в России и заграницей, которые думали найти в советской России плодотворную почву для своих планов.

Поэтому-то так приятно поражала краткая и ясная деловитость Красина. Когда он узнал, кто я такой и что я свободно говорю по немецки, он сказал мне:

«Это прямо несчастье, что Вы не были в Берлине, когда я там несколько месяцев тому назад вел переговоры с германскими промышленными группами. Такие люди нам нужны, а не политические трубачи».

Красин был способный организатор и превосходный работник, человек, который понимал с первого взгляда, что ему хотели сказать, человек, который хотел быть окруженным только способными, умными, работящими и ясномыслящими людьми; политические же мечтатели ему были органически противны. В разговоре со мной он совершенно откровенно и весьма отрицательно отзывался о том человеческом материале, с которым ему приходится работать. Это был человек с большим темпераментом, своевольный, власт-

ный, который не любил долго раз'яснять даваемых им предписаний и лишь с трудом выносил мнения, противоположные его собственному.

О моем столкновении с Красиным в Лондоне по поводу заказов на паровозы для советской России я уже писал*). В результате отношения между мной и Красиным значительно охладились. Когда я с ним опять встретился в мае 1923 г. в Москве, где он занимал тогда пост комиссара торговли, он принял меня тем не менее спокойно и любезно. Я явился к нему по предложению комиссара финансов Сокольникова, чтобы до заключения первой сделки по продаже платины узнать мнение Красина. Красин очень внимательно выслушал мои доводы и согласился с моим заключением.

Я встречался с ним позднее еще несколько раз, когда он был послом в Париже.

Первый раз я посетил его в декабре 1924 г. в посольском дворце на Rue de Grenelle и беседовал с ним о задачах валютного управления заграницей и о возможности заключения крупных сделок по продаже платины во Франции. Он уже тогда не производил впечатления совершенно здорового человека.

Когда я увидел его во второй раз, 8 марта 1925 г., в Лионе на банкете, который выставочный Комитет устроил в честь Эррио, тогдашнего министра и городского головы Лиона, и Красина, я нашел его очень постаревшим. Мы сидели в советском павильоне более получаса совсем одни в маленькой приемной комнате. У Красина появилась около рта скорбная, усталая, страдальческая складка.

Его прежняя резкая стремительность обращения пропала совершенно. Почти без всякого интереса он спросил меня:

«Зачем Вы собственно приехали в Лион?»

---

*) См. М. Я. Ларсонс, На советской службе, стр. 62-65.

Л. «Я здесь по поручению валютного управления. Комиссар финансов Сокольников дал мне по телеграфу поручение выставить здесь в Лионе на ярмарке образцы платины в слитках и изделиях и попытаться продать здесь платину. Я выставил платину и изделия московского платинового завода в запертой стеклянной витрине, которую Вы потом увидите, и приставил к ней для охраны дюжего молодца, одного из моих сотрудников в Лондоне, человека, которого я уже много лет знаю и которому я абсолютно доверяю.»

К. «Я очень хорошо понимаю, что Вы выставляете платину. Эррио, наверное, заинтересуется этой витриной. Но одного я не понимаю. Вы что это всерьез собираетесь торговать на ярмарке платиной? Что Вы с ума сошли? Платину же не продают на ярмарке!»

Л. «Я с ума не сошел. Я очень хорошо знаю, что платину не продают на ярмарке, но у меня есть совершенно определенный письменный приказ. Само собой разумеется, что я не смогу продать ни одной унции, но я должен выполнить поручение, я должен по крайней мере стараться его выполнить, в противном случае в Москве будут утверждать, что я саботирую. Меня в высшей степени радует, что Вы также разделяете мое мнение. Я совершенно откровенно написал в Москву, что продавать таким образом платины нельзя, но там в Москве лучше знают. Впрочем, я думаю, что Сокольников слишком умен, чтобы искренно верить, что я в состоянии заключить более или менее крупную сделку с платиной на ярмарке. Это по всей вероятности лишь холостой выстрел, который должен, наконец, заставить всех крупных американских, английских и французских торговцев платиной понять раз навсегда, что мы можем обойтись и без них. Очевидно, еще один раз хотят «удивить Европу».

К. «И этот холостой выстрел Москва хочет выпустить как раз на ярмарке в Лионе?»

Л. «Разумеется, этот выстрел никого не испугает. В лучшем случае люди будут смеяться, что у нас применяются такие методы и что их считают за таких дураков. Но что я могу против этого сделать? Если я не хочу, чтобы меня считали саботажником, я должен хотя-бы насильно, а продать кому-нибудь несколько унций. В Москве в комиссариате финансов сейчас сидит действительно толковый человек, заместитель комиссара финансов Фрумкин. Это — как мне говорят — не мечтатель, а человек дела, с коммерческими способностями. И тем не менее там все еще считают наших европейских покупателей за идиотов и стараются подступиться к ним с подобными смехотворными торгашескими приемами».

К. «В этом-то наше несчастье, что мы весь свет считаем за идиотов и только самих себя за умников. Что Вы хотите, ведь еще Ленин сказал, что мы должны научиться торговать. А мы до сих пор не научились, и пройдет немало времени пока научимся».

Тут Красин с усталой улыбкой замолчал.

Вечером на банкете я опять увидел прежняго Красина. Он сидел сияющий посреди стола, рядом с Эррио, и любезно беседовал с почетными гостями и представителями учреждений города Лиона. Это был большой банкет с участием многих гостей. Я сидел за столом в некотором расстоянии от Красина, вместе с секретарем посольства в Париже, и беседовал с одним из высших судей Лиона, человеком с тонким лицом и большими лучистыми глазами. После этого я Красина не видел.

Красин умер в Лондоне осенью 1926 г. после тяжелой болезни. Перелитие крови, которое было предпринято в последний момент, не увенчалось успехом. Его тело было перевезено в Берлин, откуда оно было отправлено для отдачи последних почестей в Москву и предано земле у Кремлевской стены на Красной площади. Тело было поставлено на катафалк в советском посольстве Унтер ден Линден в комнате, уб-

ранной цветами и красными флагами, рядом с большим белым залом, в котором состоялось похоронное торжество.

На этом торжестве, имевшем место 29 ноября 1926 г., присутствовали, кроме персонала советского посольства, торгового представителя и прочих советских организаций в Берлине, также личные друзья и знакомые Красина и представители германского общества. Я также отправился в посольство, чтобы отдать последний долг Красину — самому способному реальному политику советской России.

Первым говорил надгробное слово Н. Н. Крестинский на немецком языке, вторым говорил торговый представитель, латыш Бегге, по русски. Чрезвычайно жаль, что Крестинский произнес речь не на своем родном русском языке, а на немецком, оставшимся для него вполне чуждым и непривычным. Трудно было также поверить, что тот язык, на котором говорил Бегге, действительно был русским. Крестинский говорил со слезами на глазах. По его лицу струились слезы, когда присутствующие, выходя из залы по окончании торжества, пожимали ему руку. Я был этому несколько изумлен, так как тесной личной дружбы между Красиным и Крестинским собственно не существовало. В виду громадной разницы между этими двумя характерами этого и ожидать было нельзя. После торжества тело, окруженное массой факелов и красных флагов, сопровождаемое большою толпой, было перенесено на Силезский вокзал. Было уже темно. Там, на специально построенной трибуне,задрапированной факелами и флагами, держал надгробную пламенную речь коммунистический депутат рейхстага. Никто его не прерывал, когда он говорил о революции, как о конечной цели. Полиция держалась в стороне по углам площади. В германской республике немецкие коммунисты могли без помехи, совершенно спокойно, провозглашая открыто свои революционные цели, проводить в могилу русского партийного вож-

дя. В советской республике было-бы невозможно сказать у открытой могилы какого-нибудь некоммуниста хотя-бы одно слово антикоммунистического характера, не говоря уже об устройстве даже и тени подобной демонстрации.

Красин, конечно, не был коммунистом в сталинском смысле. В течение всего ряда лет Красин, в ком очень нуждались, был в силу своей весьма самостоятельной личности, со своим метким сарказмом, беспощадной критикой и ярко-выраженными буржуазными привычками тяжелым балластом для партии, бельмом на глазу правоверных партийных жрецов. Его можно было лишь с большим трудом запречь в победоносную коммунистическую колесницу, причем приходилось держать его постоянно в узде, чтобы он не мог делать скачков в сторону.

Для советской России смерть этого энергичного, деятельного и толкового человека, привыкшего мыслить только реальными фактами, поистине является незаменимою потерею. Личность Красина в Москве пока не заменена никем, да и не может быть заменена, ибо таких людей в России не достает.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

КАРЛ МООР.

Я уже упоминал, что встретился в первый раз с Карлом Моором 2 марта 1919 г. во время моего путешествия в Швецию.

Карл Моор, известный швейцарский социал-демократ и друг Ленина еще по эмигрантской жизни последнего в Швейцарии, приехал в Россию после переворота.

Карлу Моору было тогда в марте 1919 г. около 70 лет. Он был человеком необыкновенно пылкого огненного темперамента, так что возраст его совершенно не чувствовался. Он ехал в Швецию в сопровождении одной дамы, жены присяжного поверенного в Петербурге. В Белоострове — на русско-финской пограничной станции — дама эта была задержана, так как у нее не оказалось разрешения военного комиссариата, необходимого для пропуска через финскую пограничную зону. Карл Моор также остался в Белоострове и так энергично добивался этого разрешения, что он мог уже через 2 дня продолжать со своей спутницей путешествие из Або в Стокгольм на том-же пароходе, на котором ехал и я.

Карл Моор, с которым меня познакомил народный комиссар торговли Бронский, неоднократно на пароходе, а потом и в Стокгольме приступал ко мне с вопросом, какую я, собственно, преследую цель своим путешествием и какие задачи я должен выполнить в

Швеции. Карла Моора я лично близко не знал, то, что я о нем слышал, было противоречиво, и поэтому я предпочел на его вопрос не отвечать. Он был этим весьма недоволен, но скорее из-за неудовлетворенного любопытства, чем от обиды на недостаток доверия.

Через четыре года я опять встретился с Карлом Моором. На этот раз в Москве, в гостиннице Савой. У него там имелась крошечная комната, набитая сверху до низу книгами. Я и моя жена жили в двух комнатах рядом. Моя жена была счастлива, что вблизи нас находился человек, с которым она могла говорить по немецки в те часы, когда я бывал на службе. Между нами и этим умным человеком, все еще весьма живым, несмотря на свой возраст, установилось тесное знакомство, которое еще укреплялось совместной жизнью в одной гостиннице, в том-же корридоре. У Карла Моора было очень выразительное, интересное лицо, обрамленное седыми кудрявыми волосами. Я все еще был очень сдержан в моих отношениях с ним, онже держал себя с нами совершенно свободно и несколько раз уверял мою жену, что он меня наверное высвободит из рук Г.П.У., если я когда-либо попаду во власть этого учреждения.

Карл Моор жил в Москве некоторым образом из милости, на иждивении советского правительства. В прошлом, говорят, он поддерживал Ленина и содействовал широкой рукой осуществлению его политических целей, причем все его состояние было таким образом с'едено. Карл Моор страшно возмущался отношением к нему «Бюробина», т. е. Бюро по обслуживанию иностранцев в Москве. Секретаря этого бюро он обзывал «презренным негодяем», который относился к нему во всех отношениях плохо. Его — де запрятали в маленькую комнату, где можно задохнуться, выдавали ему всего очень мало и высчитывали каждую копейку. «И вот так обращаются с человеком, который помогал им в Швейцарии продержаться, когда им жрать было нечего». Слезы возмущения напол-

няли его глаза и голос его от бешенства доходил до фальцета.

Карл Моор говорил со мной и об общем политическом положении, причем я чаще всего ограничивался ролью слушателя. Он был очень разочарован общим ходом вещей, и откровенно говорил, что болезнь Ленина является величайшей катастрофой для дальнейшего развития коммунистической партии и советской России. Он ужасался методам Г. П. У. и хищничеству, проявлявшемуся в отношении интеллектуальных сил России. Он неоднократно рассказывал, что он в целом ряде случаев спасал русских интеллигентов из рук Петерса*) и его сотоварищей-палачей.

Карл Моор презрительно отзывался о том фимиаме, который коммунистическая партия сознательно курила неразвитому и безграмотному русскому рабочему, и говорил буквально следующее: «Это просто отвратительно, это обожествление рабочего. Ему день и ночь твердят, что он бог, в конце концов он еще этому поверит».

Карл Моор беседовал часто с моей женой и обнаруживал большое понимание в вопросах литературы. Когда мы в июле 1923 г. уезжали из Москвы, Карл Моор вызвался переправить в Германию несколько повестей, которые моя жена написала по немецки. Хотя эти повести ничего общего не имели с советской жизнью, тем не менее я предпочитал не брать с собою через границу никакого письменного материала. Моя жена передала свои повести Карлу Моору и не получила их обратно.

Я больше никогда о Карле Мооре не слыхал.

---

*) Петерс — один из самых жестоких главарей Г.П.У.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

ШПИК.

Когда я в июле 1923 г. в качестве заместителя начальника валютного управления и председателя «Комиссии по реализации государственных ценностей» отправился заграницу, меня сопровождал коммунист Лев Дубровицкий, оффициально в качестве члена этой комиссии.

На самом же деле, в чем я затем убедился, его главной задачей было наблюдать за моей личностью и деятельностью и доводить обо всем им замеченном самым точным образом до сведения Москвы. Я нисколько не сомневаюсь, что он находился на службе Г. П. У. и что он стремился по мере своих сил выполнять свою задачу. Дубровицкий был молодой человек, в то время лет 23-х, с очень скромным образованием, но с природным умом и хорошими способностями. Так как он во многих отношениях типичен, то я хотел-бы здесь передать несколько эпизодов, кроме изложенных мною в другом месте.

Когда мы достигли 11 июля советской границы у станции Себеж, наш поезд, по обыкновению, остановился на долгое время на границе прежде, чем нас пропустили в Латвию. Мы завтракали вместе. Мне бросилось в глаза, что Дубровицкий за столом пишет какую-то бумагу.

«Что это такое?» спросил я.

Д. «Видите того человека, который сидит за разменной кассой Госбанка?»

Л. «Да, вижу».

Д. «Этого человека я знал несколько лет тому назад, когда он служил в Красной Армии. Он дезертировал и перебежал к белым. Вдруг я вижу, он сидит за этой кассой.

Л. «Уверены-ли Вы в том, что это тот самый?»

Д «Да, конечно, уверен».

Л. «Ведь с того времени прошло несколько лет, разве Вы можете узнать его с абсолютной уверенностью?»

Д. «Безусловно узнаю».

Л. «Ну, а для чего этот Ваш доклад?»

Д. «Я докладываю об этом здешнему отделу Г. П. У. Они могут делать с ним, что хотят».

Л. «Что ему в таком случае грозит?»

Д. «Ни более ни менее как смерть».

Я должен был, конечно, молчать.

17 окт. 1923 г. я возвращался опять в Москву через эту-же пограничную станцию Себеж.

Я опять увидел того-же самого человека; он спокойно сидел на том же месте и менял деньги. Очевидно, тов. Дубровицкий все-таки ошибся.

Когда мы рано утром прибыли в Ригу, мы установили, что поезд на Берлин идет только вечером. Мы должны были, следовательно, пробыть целый день в Риге Так как у меня в Риге живут близкие родственники, то я, естественно, хотел избавиться от Дубровицкого. Но это было невозможно, ибо Дубровицкий, очевидно, твердо решил сопровождать меня повсюду. Поэтому я предложил моей жене поехать на взморье, приблизительно на расстоянии одного часа езды по железной дороге от Риги. Дубровицкий, которого я, разумеется, должен был взять с собой, не отходил от нас буквально ни на шаг. Наконец, мне это надоело и я ему сказал просто-на-просто, что я

иду с женой купаться и что он совершенно свободен. Когда мы с женой вернулись обратно, Дубровицкий показался опять на горизонте и потом уже следовал за нами как тень.

По прибытии в Берлин я устроил его в гостинице и повел его к хорошему портному, у которого он заказал себе модный костюм. Через несколько дней, прекрасно одетый, он вполне производил впечатление европейца. Дубровицкий выразил желание видеть мою квартиру в Берлине. У меня в Берлине была маленькая, но со вкусом обставленная квартира. Я должен был волей-неволей исполнить его желание, дабы не возбуждать ненужных подозрений. Я пригласил его и еще двух членов комиссии к себе. Я провел их в кабинет и предложил им чаю. Кстати, мы обсудили несколько деловых вопросов. Как я потом узнал, Дубровицкий заявил на следующий день:

«Обратите внимание, как Л. хорошо устроился в Берлине. Ну, пускай не безпокоится, *одну* квартиру со всей его мебелью и произведениями искусства мы уже у него забрали в Петербурге. А скоро, надеюсь, и вторую заберем».

Дубровицкий высказывал при этом только общий взгляд, разделяемый всеми советскими кругами летом 1923 г., а именно, что коммунистический переворот в Германии лишь вопрос дней. Лето 1923 г. было действительно очень тяжелым временем для Германии. Инфляция германской марки и политические затруднения достигли высшей точки. Рурская область была занята, и в средней Германии возникли безпорядки, конечного результата которых нельзя было предвидеть.

Вышеприведенное замечание Дубровицкого в высшей степени типично для него и для его товарищей по ремеслу. Чувство невероятного злорадства и самодовольное сознание своей власти, которые ясно выявлялись в его словах, были движу-

щим фактором целого ряда поступков, без этого необ'яснимых.

Дубровицкий пользовался каждым случаем, чтобы хвастать передо мной своей революционной беспощадностью. Помимо того, что он, между прочим, рассказал мне, что из-за какого-то пустяка он в Смоленске выгнал своего тестя из дому и велел его арестовать, он намекнул мне с гордостью о своем личном участии в подавлении Кронштадтского восстания матросов. Он рассказывал мне, с какими трудностями и лишениями Красная Армия достигла Кронштадта со стороны г. Ораниенбаума, лежащего на материке против острова Кронштадта. Солдатам приходилось перебраться через замерзший финский залив. Лед уже был нетверд, местами таял, так что солдаты должны были брести верстами по ледяной воде, подвергаясь каждую минуту опасности попасть в открытые проруби. Немало людей погибло при этом переходе. Самое ужасное происходило в самом Кронштадте, где восставшие матросы расстреливались массами.

Д. «Я не могу и не должен Вам передавать подробностей, но можете быть уверены, что по сравнению с тем, что происходило в Кронштадте, вся гражданская война, война против белых, весь террор, на который жалуется буржуазия — все это ничто!»

Однажды, в самом начале нашего заграничного путешествия разговор зашел о беспартийных специалистах на советской службе. Дубровицкий заявил, что советское правительство не может обойтись без буржуазных специалистов и готово им много платить, но держать их нужно крепко, на привязи, как цепных собак, так как, мол, никогда не знаешь, чего от них можно ожидать. И между прочим, добавил: «Например, скажем Вы: я знаю, что у Вас блестящие знания и

большой коммерческий опыт, но, говоря по правде, я Вам не совсем доверяю».

Л. «Как же это? Несмотря на доверие Сокольникова и Крестинского? Несмотря на то, что Сокольников пригласил меня из-заграницы на пост начальника валютного управления? Это во всяком случае весьма лестно!»

Д. «Крестинский Вас уже сколько лет знает, а я Вас знаю только несколько месяцев».

Не без горькой иронии думал я о том, что подобный разговор между начальником и подчиненным может иметь место только при советской системе. Во всяком случае, я предпочитал, чтобы этот молодчик свой недостаток доверия ко мне откровенно высказывал, чем если-бы он все это замалчивал.

Во время моего пребывания в Голландии я должен был, между прочим, зондировать вопрос о возможности продажи коронных драгоценностей и коронных регалий.

Я знал, что оценка коронных драгоценностей и регалий была чрезвычайно высока и уже по этой причине они не могли быть проданы. Эти предметы были оценены по их исторической ценности, которая, разумеется, ничего общего не имела с рыночной оценкой. Тем не менее поручение должно было быть выполнено, поэтому я отправился в Амстердам вместе с Дубровицким к г. Т., одному из самых выдающихся и уважаемых местных ювелиров. Едва мы коснулись этого вопроса, как Т. внезапно спросил меня:

«Позвольте, как же это? Коронные драгоценности мне уже раз предлагали. Я уже тогда заявил, что я таких вещей не покупаю, что я являюсь покупателем только на драгоценные камни без оправы».

Л. «Кто-же Вам предложил эти предметы?»

Т. «Я это прекрасно помню, у меня даже альбом был, он у меня и теперь еще сохранился. Да и визит-

ная карточка того господина, который вел со мной переговоры, тоже у меня, кажется, есть».

Дубровицкий побледнел от волнения. Я спросил его, не знает-ли он что-нибудь по этому поводу. Дубровицкий не успел ответить, как Т. уже явился с фотографическим альбомом. Я его просмотрел. Это были без сомнения снимки предметов, принадлежавших к коронным ценностям. На визитной карточке стояла совершенно мне незнакомая немецкая фамилия, по всей вероятности какого-нибудь посредника.

Я извинился перед Т. и об'яснил ему, что мне это предложение совершенно неизвестно и что оно исходит без всякого сомнения от какого-нибудь посредника, а не оффициального учреждения. Единственным учреждением по продаже русских драгоценностей является валютное управление, представители коего ныне ведут с ним переговоры. Т. еще раз заявил, что он не интересуется покупкой коронных регалий и драгоценностей и на этом мы закончили наш визит.

Когда мы вышли, я спросил Дубровицкого, в чем собственно дело, так как у меня совсем нет охоты попасть еще раз в такое неприятное положение. Тогда, после некоторого колебания, Дубровицкий рассказал мне следующее. Комиссариат финансов получил несколько времени тому назад — еще до моего приезда в Москву — приказ от советского правительства вручить Коминтерну фонд, состоящий из драгоценных камней. Этот фонд и был в свое время из'ят из «Гохрана». Для этой же цели были затребованы еще три альбома со снимками коронных драгоценностей и коронных регалий, причем альбомы он, Дубровицкий, сам составил. Тот альбом, который мы сейчас видели у Т., без сомнения один из этих трех альбомов. Дело можно себе представить только так: «Коминтерн», который получил эти альбомы, пытался через своих агентов в Германии или Голландии найти покупателей на эти предметы, и с этой целью обратились и к Т.

На коронные регалии и драгоценности не нашлось покупателей и впоследствии. Были-ли за это время отдельные предметы разобраны и содержащиеся в них камни проданы, мне неизвестно.

Когда я в сентябре 1923 г. вернулся из Лондона в Амстердам, где Дубровицкий и другие члены комиссии находились уже несколько месяцев, мне сказал шеф голландской фирмы, купившей весной 1923 г. у валютного управления большую партию драгоценных камней, что Дубровицкий, разыгривающий в Голандии роль начальника комиссии, сообщил ему обо мне следующее:

«Нам Л. нужен. Его опыт, его юридические и коммерческие знания нам нобходимы, но мы ему не доверяем. Он не коммунист, и мы ему доверять не можем. Доверенным лицом являюсь здесь *я*».

Я возразил голландцу лишь следующее:

«Это замечание явная бестактность, но при существующем положении вещей я не хочу на это реагировать. Для меня решающим является то, что комиссар финансов мне доверяет. Что же касается этого молодого человека, то его мнение для меня безразлично».

Однажды, вскоре после этого, ко мне подошел Дубровицкий весь сияющий: «Тов. Л., теперь я Вам доверяю, теперь я могу спокойно Вам это сказать!»

«Что случилось?» спросил я его.

Д. «Сегодня я встретил одного старого товарища, с которым я говорил о Вас. Он Вас уже 8 лет знает, еще задолго до революции, и он мне заявил, что Вы абсолютно честный человек».

Я сейчас-же понял, откуда у него эта новость. Дело шло об одном образованном, интеллигентном человеке, который работал до революции под моим началом в Шуваловском Обществе и теперь состоял советским генеральным консулом в европейском крупном городе. Этот человек мог сказать обо мне только

положительное. Это якобы наивное проявление доверия вывело меня, однако, из себя, и я осадил его:

«Пожалуйста, продолжайте Вашу работу, тов. Дубровицкий, и заметьте себе: мне наплевать на то, доверяете-ли Вы мне или нет. Я исполню свой долг по мере моих сил и затем отдам отчет о своей деятельности народному комиссару финансов Сокольникову, а не Вам».

Для меня было ясно, что Дубровицкий не будет мне доверять, даже если получит самые лучшие сведения касательно моей личности, и это предположение не замедлило подтвердиться дальнейшими событиями.

В декабре 1923 г. мы вели в Москве переговоры с одной французской фирмой касательно покупки драгоценных камней. По этому случаю «Комиссия по реализации государственных ценностей» собралась на заседание в здании «Государственного хранилища ценностей», т. наз. «Гохране». В заседании принимали участие все четыре члена комиссии: я — в качестве председателя, мой коллега, заместитель начальника валютного управления Карклин — в качестве вице-председателя, Дубровицкий и заместитель начальника Гохрана — в качестве членов. Комиссия состояла из трех коммунистов и меня, председателя, беспартийного.

Французу была предложена крупная партия драгоценных камней, но он хотел пока купить лишь менее значительную партию по своему выбору и зато давал высокие цены. Вопрос обсуждался в ту и в другую сторону, Дубровицкий стоял за то, чтобы продавать французу только всю партию в целом. Я знал, что я в таких случаях должен соблюдать крайнюю осторожность, так как каждое мое предложение могло-бы показаться подозрительным. Я, однако, не видел абсолютной необходимости в том, чтобы всю партию продавать непременно сразу и высказался в

том смысле, что предложение француза купить небольшую партию по более высокой цене должно быть подвергнуто зрелому обсуждению. Тогда Дубровицкий вскочил и сказал:

«У меня такое ощущение, что у этого француза у нас в комиссии имеются очень глубокие корни».

Я понял большую опасность, в которой я находился. Малейшее подозрение было достаточно, чтобы безповоротно отдать меня в руки Г. П. У., с которым я уже и так воевал из-за разрешения на выезд заграницу. Поэтому я сейчас-же поднялся с места и заявил:

«Я слагаю с себя обязанности председателя Комиссии и прошу Вас, тов. Карклин, принять на себя председательствование. Я ни за что не допущу, чтобы здесь высказывались подобные намеки».

Карклин: «Что Вы, что Вы, тов. Л., как это Вам в голову пришло? Это же не основание для отказа от председательских полномочий. Тов. Дубровицкий сделал это замечание, не отдавая себе ясного отчета в смысле своих слов».

Л. «Во всяком случае, я заявляю следующее: во избежание каких-бы то ни было недоразумений, я официально беру назад свое предложение подвергнуть еще раз основательному обсуждению условия, на которых француз хотел купить камни. Я иду еще дальше. Я заявляю, что если Комиссия теперь вся в целом выскажется за предложение француза, я буду голосовать против. Только таким образом я могу свести на нет те намеки, которые позволяет себе делать т. Дубровицкий».

Сделка, таким образом, не состоялась. Вся партия, правда, была продана, но гораздо позже и на менее выгодных условиях.

Когда в мае 1923 г. возникла мысль послать из Москвы в Голландию особую комиссию для наблюдения за правильным проведением сделки по продаже крупной партии драгоценных камней большой гол-

ландской фирме, Дубровицкий начал усиленно домогаться своего назначения членом этой комиссии для того, чтобы поехать со мной заграницу. Он обратился к коммунисту И. I. Шлейферу, заместителю начальника валютного управления, от которого зависело его назначение.

Шлейфер, будучи личным другом Дубровицкого и охотно желая ему оказать это одолжение, — тем более, что это гарантировало ему получение самых точных сведений обо мне и моей деятельности заграницей, — тем не менее предостерегал его от этого шага.

Шл.: «Почему ты хочешь ехать с Л? Ведь это-же опасная штука! Кто его знает, какие могут оказаться для тебя последствия, если там дело пойдет не в порядке. Почему ты хочешь лезть как раз в такое дело? Успеешь еще в другой раз попасть заграницу».

Дубровицкий настоял всетаки на своей поездке. О том, какие последствия это путешествие могло-бы иметь для меня, «если-бы дело пошло не в порядке», над этим, очевидно, тов. Шлейфер не слишком ломал себе голову. Как бы то ни было, дело закончилось хорошо. Вся сделка была проведена в полном порядке. Дубровицкий вернулся уже в конце сентября 1923 г. обратно в Москву.

Когда я сам, 18 окт. 1923 г., приехал в Москву, я узнал, что Дубровицкий был арестован на русской пограничной станции Негорелое, т. е. на русско-польской границе, советскими властями. Он хотел тайком провезти несколько отрезов шелковой материи, шелковое дамское белье и духи, но эта попытка не удалась. Он был задержан, приведен под конвоем в Москву и там наконец освобожден своим влиятельным другом И. I. Шлейфером.

Когда Дубровицкий увиделся со мной в Москве, он сейчас же мне рассказал о той неприятности, которая с ним случилась на русской границе.

Д. «Я, понимаете-ли, накупил в Берлине много белогвардейской литературы, чтобы быть в курсе

враждебных советской России политических течений. Эту литературу при осмотре багажа нашли и сочли меня, кончно, за белогвардейца. Это недоразумение немедленно раз'яснилось в Москве, и я сейчас-же был освобожден. Я очень горжусь тем, что наш наблюдательный аппарат так хорошо работает».

Я сделал вид, что поверил этой милой вариации, ибо суть дела я уже прекрасно знал.

Дубровицкий при совершении коммерческих сделок всегда был того мнения, что сделка только в том случае выгодна для советского правительства, если другая сторона, если контрагент определенно при этом «попадался». Для него не было большей радости, чем если он узнавал, что какой-нибудь контрагент валютного управления при покупке им товара потерпел убыток.

Крупная французская фирма купила у голландской фирмы значительную партию прибывающих из России жемчугов in the dark, т. е. не осматривая предварительно товара. Она просто купила эту партию у голландцев по действительной цене фактуры валютного управления с надбавкой известного процента. Жемчуга, которые шли в Голландию, были и без того очень высоко оценены валютным управлением, и цена на них с надбавкою процентов оказалась для французской фирмы при данном положении рынка настолько убыточной, что французы предпочли уплатить голландцам крупнейшую неустойку, лишь бы только избавиться от выполнения этой сделки.

Дубровицкий очень веселился по поводу этого случая и радовался чрезвычайно, что французы понесли громадный убыток.

То обстоятельство, что контрагент, потерявший один раз на советской сделке, никогда больше не станет домогаться других коммерческих дел с советскими учреждениями, Дубровицкого нимало не интересовало. Впрочем, представление Дубровицкого о дело-

вой морали было-бы совершенно несущественно, если бы оно было характерным лишь для него, молодого безответственного человека.

К сожалению, стремление «надуть» контрагента при продаже или при покупке является весьма типичным для очень многих коммунистов, занимающих видные и ответственные посты в советском хозяйстве и советской торговле. Эта тенденция проходит красной нитью через всю практическую торговую деятельность советских учреждений. Эти современные «купцы» видят только непосредственную выгоду данного момента. Будущее, органическое созидание торговых отношений с контрагентами их не интересует: «После нас хоть потоп».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

КОНЕЦ СКУЛЬПТОРА МИХАИЛА БЛОХА.

Еще до войны я познакомился в Петербурге с молодым скульптором Михаилом Федоровичем Блох. Он был очень одарен, имел большой успех на ежегодных художественных выставках в Петербурге и подавал надежды стать одним из лучших русских ваятелей. Блох был человек с большим темпераментом и выдающийся художник, но о государственных, экономических и политических вопросах имел весьма слабое представление. Сейчас же после переворота он вступил в ряды коммунистической партии, не давая себе ясного отчета, что собственно представляет собой коммунизм. Для него коммунизм был лишь разрыв со всеми прежними традициями, освобождение от всех препятствий, связанных с расой или национальностью, свободный путь для способного, талантливого художника, безразлично, еврей ли он или русский.

Как почти всякий молодой художник он был всегда обременен тяжелыми материальными заботами и стремился теперь к получению государственных заказов. Советские учреждения в Петербурге заказали ему целый ряд памятников, и он выполнил их к полному удовлетворению своих заказчиков. Так прошли первые годы после революции. Его жена, родом полька, покинула Петербург со своим маленьким сыном из-за голода уже в конце 1917 г. и поехала к матери в Варшаву. Михаил Блох, который очень любил свою

жену, не мог вследствие военных действий между Польшей и советской Россией непосредственно переписываться с ней и должен был ограничиваться оказиями для переправки писем через границу.

Однажды, в начале 1920-го года, советскими властями был арестован польский шпион при попытке перейти советскую границу, причем у него была найдена масса писем. Этот человек был в Петербурге и там за доброе слово и хорошее вознаграждение взял с собой письма родным и друзьям, жившим за рубежом. Между прочими письмами было найдено также письмо Михаила Блоха к жене в Варшаву. В этом письме Михаил Блох якобы писал своей жене, что его прежние иллюзии в отношении коммунизма, при столкновении с действительностью, давно рассеялись. Он еще работает над заказами, полученными от советского правительства, но он больше не коммунист и относится к своей работе только чисто профессионально. Его единственная цель перед глазами—это бегство из России для того, чтобы быть опять вместе с женой и сыном. Он уже позаботился о приискании связей в Польше и надеется, что ему и там удастся пробить себе дорогу и создать имя. Он сможет привезти с собой рекомендательные письма от католического епископа Ш. в Петербурге, адресованные видным польским деятелям, а пока он просит ее принять от него через пред'явители этих строк небольшую денежную сумму.

На основании этого письма Блох был арестован и увезен из Петербурга. Он был обвинен в соучастии в шпионаже в пользу Польши и несмотря на неоднократные ходатайства друзей расстрелян осенью 1920-го года.

По истечении многих месяцев появилась о смерти Блоха краткая заметка в одной русской газете, выходящей в Берлине, но что-нибудь определенное узнать было нельзя. Его жена, которая тоже узнала только много месяцев спустя о смерти мужа, напрасно старалась получить подтверждение этого факта в советском

посольстве в Берлине. Ей было сказано, что в посольстве об этом сведений не имеется и что справки о смерти Блоха будут наведены в Москве. Несмотря на все старания, вдова Михаила Блоха до сих пор не получила от советских учреждений свидетельства о смерти мужа.

Благодаря совершенно необычному случаю мне удалось получить более точные сведения о его смерти. Летом 1923 г., когда я в сопровождении коммуниста Дубровицкого находился в Голландии, мне удалось осторожно завести разговор о деле Блоха. Мне казалось вероятным, что Дубровицкий в качестве тайного агента Г.П.У., пожалуй, знаком с этим делом. Случаю угодно было, что предположение мое сбылось.

Дубровицкий родился в Смоленске и совсем молодым человеком, немедленно после переворота, вступил в коммунистическую партию. Он спросил меня, не был ли я близким другом Блоха и не интересуюсь ли я поэтому этим случаем. Я ответил отрицательно и сказал ему только, что я очень близко соприкасался с художественной жизнью Петербурга и что я знавал Блоха лично, как и многих других русских художников. Дубровицкий сперва молчал. Это было поздно вечером, на взморье в Зандфурте, небо темнело над нашими головами, море шумело, Москва была далеко. Может быть, вечернее настроение развязало ему язык, но он заговорил:

«Да, это дело мне знакомо. Блох был перевезен осенью 1920 г. из Петербурга в Смоленск, где я его неоднократно видал. Блох был всегда в хорошем настроении и твердо убежден в том, что его освободят и что нелепое обвинение в шпионаже будет с него снято. Он охотно рисовал карандашом портреты своих сторожей и тюремных служащих и дарил им эти листки на память».

Л. «Считаете-ли Вы возможным, что Блох действительно занимался шпионажем в пользу Польши?»

Д. «Конечно, никто в это не верил. Блох ни на

кого не производил впечатление шпиона. Но только он очень глупо вел себя перед судебным следователем на допросе. В его смерти собственно виновата его глупость. Вместо того, чтобы просто признаться, что он, действительно, послал своей жене деньги — что тут в сущности особенного? — Блох упорно отрицал факт посылки денег. Он вообще категорически отрицал подлинность этого письма. После этого судебный следователь уже не придавал никакой веры его словам, ибо следователь не сомневался, что найденное у польского шпиона письмо настоящее и что писавший письмо был никто иной как Блох».

Л. «Чем-же дело закончилось?»

Д. «Чем-же оно могло при таких обстоятельствах кончиться? Блох был приговорен к смерти и расстрелян».

Л. «Это очень печально. Я знал Блоха, правда, не очень близко, но во всяком случае настолько хорошо, чтобы совершенно исключить возможность того, что Блох мог заниматься шпионажем против советской России. С ним погиб очень талантливый, многообещающий молодой художник. Где был приведен в исполнение смертный приговор?»

Дубровицкий медлил с ответом. Я ждал. Молча шли мы вдоль темного взморья. Я не знаю, какие картины проносились перед его умственным взором. Наконец, он сказал:

«Помните Вы некоего Еронина, курьера, который постоянно приносил из «Гохрана» в валютное управление пакеты и письма? Ну, так вот этот Еронин был в то время, в 1920 г., комендантом концентрационного лагеря близь Смоленска. Смертный приговор был приведен в исполнение в Смоленске».

Я понял, что Еронин, молодой белокурый русский парень с честными голубыми глазами, который не раз в приемной около моего служебного кабинета терпеливо ждал, пока я подпишу бумаги, и с которым я никогда серьезно не разговаривал, что это он или

сам привел в исполнение смертный приговор над Блохом, или-же это сделали солдаты подчиненной ему стражи.

Л.: «Вдова Блоха была у меня несколько времени тому назад в Берлине и просила меня узнать все подробности относительно смерти мужа, если только это возможно. Будете-ли Вы иметь что-нибудь против того, если я обращусь в Москве к Еронину и узнаю от него о последних часах Блоха?»

Дубровицкий вдруг весь встрепенулся. Слово «Москва» отрезвило его. «Это совершенно невозможно», сказал он волнуясь, «это я Вам все рассказал, потому что думал, что Вы интересуетесь судьбой Блоха. Будьте осторожны, не делайте этого. В Ваших-же собственных интересах, я Вам настоятельно советую не спрашивать ни о чем Еронина».

Конечно, по прибытии в Москву я Еронина ни о чем не спрашивал. Я намеренно избегал встретиться с ним.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

ПО НОВЫМ МУЗЕЯМ.

Я постарался, во время моего пребывания в Москве и Петербурге в 1923 г., осмотреть все новые музеи, возникшие после революции.

Однажды я посетил музей фарфора в Москве, который возник из прежней морозовской частной коллекции. Морозов — пожилой человек, происходивший из богатой и уважаемой купеческой семьи — в своем доме-дворце собирал в течение многих лет коллекцию русского фарфора. Этот дом был превращен потом в музей фарфора, в котором был собран весь ценный фарфор, конфискованный во время революции у частных коллекционеров.

Морозову самому предложено было место хранителя этого музея и в его распоряжение была предоставлена в качестве квартиры одна комната в этом же доме. Он совершенно искренно со всем примирился и был очень счастлив — он сам мне это сказал — быть хранителем в своем собственном музее, ибо он не мог представить себе ничего лучшего, как провести остаток своих дней в музее фарфора. Прежде, до революции, когда он хранил только свою собственную коллекцию, у него было лишь около 2000 фарфоровых вещей Теперь у него было почти 7.000 предметов, которые доставляли ему большую радость. Музей был небольшой, но содержался с любовью и необы-

чайным вниманием и произвел на меня наилучшее впечатление.

В Петербурге я осмотрел, между прочим, новоучрежденный «общественно-бытовой Музей», который помещался в старом дворце графов Бобринских на Галерной улице.

Случайно я узнал, что почти вся коллекция, которая принадлежала мне до революции и находилась в моей петербургской квартире, была после конфискации квартиры перенесена в этот музей; это были вышивки, парчи и другие предметы старинного русского искусства.

Я очень внимательно осмотрел музей и нашел, между прочим, и мои старинные ткани, а также чудесный большой ларец для хранения драгоценностей, времен Петра I, украшенный великолепной резьбой из перламутра. В свое время я приобрел этот ларец за большие деньги у проф. Парланда — известного в России строителя церквей.

Я, разумеется, не делал никаких попыток к получению своих вещей обратно, хотя и существовало постановление, согласно коему прежний владелец конфискованных художественных ценностей имел право потребовать их обратно, если они по своему качеству не представляли музейного интереса. В действительности это постановление существовало лишь на бумаге, я же, занимая оффициальный пост в качестве заместителя начальника валютного управления, во всяком случае, не мог им воспользоваться.

В одном из отделов музея я заметил несколько вышитых жемчугом риз очень небольшой ценности. Я спросил служащего, который заведывал этим отделом, почему не выставляются лучшие жемчужные вышивки. «Да очень просто», ответил он, «потому что у нас их нет, мы были-бы очень счастливы, если-бы могли выставлять лучшие вещи». Я разсказал ему, что в Государственном Хранилище Ценностей (Гохране) в Москве находятся многие тысячи жемчужных риз, ко-

торые самым безответственным образом предаются уничтожению, так как в Гохране жемчуга с риз снимаются по одиночке, и вся риза, таким образом, разрушается. Таким путем окончательно погибли чудесные жемчужные ризы. Я напрасно старался вести борьбу с этим вандализмом, но приостановить бессмысленного разрушения не мог. Если «Общественно-бытовой Музей», действительно, интересуется жемчужными ризами, то Музей должен обратиться с прошением к валютному управлению о том, чтобы оно предоставило в его распоряжение самые лучшие жемчужные ризы. Я не сомневаюсь, что разрешение в этом случае будет дано и что таким образом, по крайней мере, 50 образцов этих риз будут спасены для музея.

«Общественно-бытовой Музей», действительно, командировал одну служащую — знатока жемчужных вышивок — в Москву с поручением выбрать для музея желательные образцы. Одновременно с этим она подала валютному управлению оффициальное заявление музея о выдаче таких образцов.

Я проводил служащую музея в Гохран и мы прямо отправились в то помещение, где разбирались на части жемчужные ризы. Было совершенно невозможно осмотреть все жемчужные ризы в отдельности, так как на меня в Гохране и так уже косились за мои попытки спасти от переплавки художественно - ценное старинное церковное серебро.

Я попросил занятого этим делом служащего показать мне ящик с особенно хорошими, старинными жемчужными ризами. Он ответил мне:

«У нас жемчужные ризы не рассортированы, мы не знаем, что старина, а что новое. Мы их разбираем на части как придется».

Затем он указал мне на громадный ящик, на котором имелась надпись «Церковь 133-го (?) Псковского пехотного полка», и сказал:

«Вот тут много жемчужных риз, берите, что хотите».

Я возразил ему:

«В церкви простого пехотного полка не может быть ценных жемчужных риз. Такими вещами музей не интересуется».

Служащий добродушно рассмеялся и сказал:

«Что Вы на ящик-то смотрите? Вы думаете, что в нем жемчужные ризы из церкви Псковского пехотного полка? Ящик ничего общего больше не имеет с пехотным полком. Он так только стоит. Мы все жемчужные ризы, которые к нам со склада приносят, туда складываем».

Он открыл ящик, который был битком набит жемчужными ризами. Ризы были вынуты и даны на рассмотрение служащей музея. Сперва она хваталась за ризы начала 19-го века. Затем, когда на свет появилась масса риз 18-го и целый ряд риз 17-го века, она должна была, разумеется, ограничиться ризами 17-го и 18-го столетия, так как я при всем желании не мог предоставить музею всего ящика, а должен был ограничить число отдаваемых риз сорока, самое большее пятидесятью экземплярами.

Служащая музея в восторге отправилась со своими ризами во-свояси, а «Общественно-бытовой Музей» имеет теперь в своем распоряжении ценную коллекцию жемчужных риз.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

ПЕРЕГОВОРЫ В ПАРИЖЕ.

15 марта 1925 г. я приехал из Лондона в Париж, чтобы зондировать почву относительно продажи большой партии платины в Париже. Как полагается, я отправился к местному торговому представителю и в общих чертах изложил ему сущность сделки, которую мне было поручено провести.

Каждый представитель комиссариата, с каким-бы служебным поручением он ни находился заграницей, должен был по общему правилу доложить о предполагаемой торговой сделке торговому представителю той страны, в которой эта сделка должна была совершаться, и затем уже в согласии с торговым представителем и с помощью аппарата местного торгового представительства приступить к исполнению данного ему поручения. Этот принцип был совершенно правилен. Каждый командированный заграницу советский служащий обязан был, немедленно по своем прибытии в Берлин, Лондон, Париж и пр., регистрировать свой мандат в местном торговом представительстве. В подтверждение произведенной регистрации на самом мандате ставился соответствующий штемпель с указанием числа.

Торговым представителем в Париже был в то время тов. Буду (Поликарп) Мдивани, грузин, человек лет сорока. Само собой разумеется, он был членом коммунистической партии. Мдивани был очень жизне-

радостный, любящий все земные блага человек, в Париже чувствовал себя во всех отношениях прекрасно, по виду — статный, самодовольный господин очень сильно выраженного буржуазного типа.

Я представил ему свой мандат и изложил ему, в чем заключалась моя задача. Я заявил ему, что комиссариат финансов слышать не хочет о продаже платины на комиссию и поручил мне строжайшим образом заключать только твердые сделки на определенный срок. При этом комиссариат финансов, конечно, воздержится до истечения срока договора от всякой дальнейшей продажи платины. В настоящее время мне поручено продать 70.000 унций платины по цене 110 долл. за унцию. Я приехал в Париж, чтобы вести переговоры с одной крупной парижской фирмой, которая уже приобрела в декабре 1923 г. у валютного управления крупную партию платины. У меня, однако, имеется совершенно определенное впечатление, что фирма не решится взять на себя риск, который связан с подобной покупкой по твердым ценам. Нам не останется, очевидно, ничего другого, как заключить договор с крупной англо-американской группой, с которой мы сейчас также ведем переговоры. Хотя эта группа не согласна принять всех условий валютного управления, но по всем вероятиям, в конце концов, мы с этой группой сойдемся. До заключения же сделки я приехал в Париж, чтобы установить, хотят ли французы пойти на такую сделку.

Мдивани, с интересом выслушавший мой доклад, заявил, что у него имеется другая французская фирма, которая наверное пойдет на такую сделку. Он еще сегодня вечером или завтра устроит мне свидание с представителем этой фирмы, чтобы немедленно дать делу ход.

Сделка, которую мне предстояло совершить представляла собою операцию на сумму от 7 до 8 милл. долларов. Разумеется, каждое торговое представительство хотело провести такую операцию в том райо-

не, в котором оно работало. Лондонское торговое представительство хотело заключить договор с английской группой, парижское торговое представительство — с французской, а берлинское — с германской группой. Причина была ясна. Во-первых, такая операция значительно повысит годовой оборот данного торгового представительства, во-вторых, торговое представительство получает от валютного управления очень высокую комиссию за проведение подобной операции, и, в-третьих, сама по себе сделка очень проста и легка. Все дело заключается в том, чтобы сдать покупателю несколько ящиков с платиной, принять за это платеж наличными и провести затем окончательный расчет по получении лабораторного анализа. Интерес к такого рода операции был мне совершенно понятен.

В тот-же день, в 5 часов после обеда, я встретился в служебном кабинете Мдивани и в его присутствии, с Н. Н., уполномоченным французской фирмы, предложенной мне Мдивани.

При переговорах присутствовал еще посредник, восточный человек, с турецкой фамилией. Присутствие посредника было мне неприятно, так как у меня имелось строжайшее предписание вступать в сношения только непосредственно с покупателем, а отнюдь не с посредником. В данном случае я ничего не мог сделать.

Н. Н. в длинном докладе изложил свои взгляды о торговой политике, которую должно проводить советское правительство по вопросу о платине. Я его не прерывал, хотя все это было мне давно известно, и дал ему высказаться.

Конечно, его фирма, подобно другим торговцам платиной, имела вполне понятное желание совершать для советского правительства комиссионные сделки по продаже платины, не сопряженные ни с каким риском, т. е. сосредоточить исключительно в своих руках всю продажу русской платины за соответству-

ющее, хотя и очень скромное вознаграждение. Н. Н. утверждал, что существует банковская группа, согласная предоставить заем в известном размере под продаваемую платину. Все эти планы были мне хорошо известны. Оии предлагались на рассмотрение валютного управления неоднократно и были ныне окончательно отклонены. Комиссариат финансов был заинтересован исключительно в том, чтобы продать крупиую партию платины на известный срок по твердой цене.

После того, как Н. Н. закончил свой доклад, я сказал ему, что его план уже с разных сторон представлялся иа обсуждение валютного управления, но что он неприемлем. Затем я заявил ему, что торговый представитель Мдивани знаком с моим мандатом, а нз иего ясно следует, что я уполномочен только на переговоры относительно твердой продажи крупного количества платины. Под конец я спросил Н. Н., согласна-ли его фирма вести переговоры о покупке 70 тыс. уицнй платины по твердой цеие. Я, конечно, зиал наперед, что об этом не могло быть и речи. Н. Н. ответил отрицательно. Тогда я спросил его, согласна ли она вести переговоры о покупке меньшего количества, напр., 30 или 40 тыс. унций. Ответ и на этот раз был отрнцательный. Наконец, я задал ему вопрос, какое-же количество его фирма согласна твердо купить. В ответ я услышал, что его фирма этот вопрос обсудит, но, во всяком случае, дело может итти лишь о партин в несколько тысяч унций.

Получив такой ответ, я посмотрел на торгового представителя. Посредник, во время наших переговоров, очень нервннчал. Когда он увидел, что я уполномочен вести переговоры лишь о продаже очень крупной партии платины и что дело, которое он счнтал уже определенно в своих руках, грозит из ннх выскользнуть, он начал прерывать меня вздорными уверениями в роде того, что «дело уже как-нибудь наладнтся», «все устроится по-хорошему», «ведь за фир-

мой стоит грандиозная группа банков» и «он уже все устроит».

Н. Н. держался в высшей степени корректно. Он вполне понимал, какая задача мне предстояла и не сомневался в том, что при таких условиях дело было для его фирмы неосуществимым. Но мне бросилось в глаза, что и торговый представитель нервничал. В присутствии обоих он по русски уговаривал меня, что дело всетаки можно как-нибудь устроить. Я, тоже по русски, обратил его внимание на мой мандат, содержание которого ему было известно, и настаивал на том, что продолжение этих переговоров совершенно бесцельно, так как фирма, которая в лучшем случае может купить лишь несколько тысяч унций, для нас ни малейшего интереса не представляет.

Впрочем, еще утром, когда Мдивани назвал мне французскую фирму, я сейчас же сказал ему, что эта фирма, согласно имеющимся у меня сведениям, хотя и очень уважаемая, старая фирма, но все же она несомненно не располагает денежными средствами, нужными для совершения такой крупной сделки. Я закончил переговоры заявлением, что покупка нескольких тысяч унций не имеет для валютного управления ни малейшего интереса и что я вообще не имею права об этом вести переговоры. Я попросил Н. Н. обсудить еще раз наше предложение и написать затем торговому представительству ответ. На следующий день, 16 марта 1925 г., действительно, поступило на имя торгового представительства в Париже письмо от этой фирмы, коим фирма из'явила согласие купить 100 кило (= около 3200 унций) платины по твердой цене. Мои предположения оказались, таким образом, правильными.

В тот же самый день, около 9 часов вечера, ко мне в гостинницу явился господин, который желал со мной говорить по очень срочному делу. Он назвал свою фамилию. Это был Х. Х., русский, бывший мой сослуживец. Я знал его уже много лет, как человека,

заслуживающего уважение, но потерял его из виду очень давно. Я сейчас-же его принял, приветствовал самым дружеским образом и спросил, как ему живется.

Л. «Как Вы вообще узнали, что я в Париже, где Вы достали мой адрес?»

X. «Вы сейчас-же все поймете. Сегодня после обеда Вы вели переговоры в известном учреждении с г-ном Н. Н. и с таким-то посредником».

Л. «Я Вас не понимаю. Почему Вас интересуют мои переговоры, которые я вел или не вел? Для чего я буду с Вами разговаривать о моих служебных делах? Если-бы я не знал, кто Вы, если-бы я не знал Вас столько лет, я вообще прекратил бы немедленно наш с Вами разговор».

X. «Почему Вы так волнуетесь? Передо мной играть комедию не имеет смысла. Я очень хорошо осведомлен о том, что Вы переговоры вели, и я знаю точно, до последнего слова все, что Вы там говорили».

Л. «Что Вы, каким образом? Что же, Вы стоите за спиной Н. Н. или посредника? Что же, Вы этими людьми посланы ко мне?»

X. «Я Вас слишком хорошо знаю, мне известно, что Вы в делах шуток не любите. Я-бы, конечно, к Вам не пришел, если-бы меня к Вам послал посредник».

Л.« Я Вас попрошу мне загадок не задавать, милый мой. Вы только что сказали, что Вы меня знаете. Поэтому Вам должно быть известно одно: или Вы ясно скажете, что Вам от меня угодно, или мы совсем закончим нашу беседу».

X. «Я знаю точку зрения, на которой Вы стояли во время переговоров. Я Вам лично вполне верю, что так гласят инструкции, данные Вам из Москвы. Я знаю, что Вы непременно должны заключить договор на крупное количество по твердым ценам, но мне непонятен непримиримый тон, в котором Вы вели переговоры. Почему Вы так резко обходились с посредником, почему Вы все время уверяли Н. Н., что сделка

в меньшем об'еме не может быть заключена? Вы-же, наверное, заметили, что торговому представителю Ваше поведение не понравилось и он напрасно старался заставить Вас перевести переговоры на другие рельсы».

Л. «Ну, здесь я уже ничего не понимаю! Откуда Вы можете знать, был-ли торговый представитель недоволен моим поведением? Это мог Вам наговорить только посредник. Торговый представитель тут заинтересован лишь постольку, поскольку ему желательно, чтобы эта сделка прошла через парижское представительство, а это совершенно невозможно, так как фирма не в состоянии заключить крупного договора».

Х. «Откуда я это знаю, Вам должно быть в сущности безразлично. Но это так. Вам не безызвестно, что у меня есть личные связи в представительстве, поэтому Вы не должны удивляться, что я знаю, как смотрит торговый представитель на Ваше отрицательное отношение к рекомендованной им фирме».

Я сейчас же понял, что Х. Х. намекал на своего родственника, который занимал в Лондонском торговом представительстве большой и влиятельный пост и репутация которого была далеко не безупречна. Он был типичный салонный коммунист, совершенно изолгавшийся и проникнутый только одною мыслью, теми или иными средствами сделать карьеру на советской службе. Этот человек без сомнения и открыл Х. Х. своими рекомендациями известные входы и выходы.

Л. «Вы, надеюсь, не хотите этим сказать, что ктонибудь из кругов торгового представительства послал Вас ко мне, чтобы на меня повлиять. Это я должен был бы рассматривать как клевету. В таком случае, я прекращаю разговор».

Х. «Я Вам не скажу, кто меня к Вам послал. Пусть будет так, что меня послал посредник. Имейте ввиду

только одно: я Вам ничего не предлагаю, я не стараюсь на Вас повлиять, я только прошу Вас мне помочь, если это возможно. Я зарабатываю комиссионные на этом деле, если оно пройдет. Вспомните нашу старую дружбу».

Л. «То обстоятельство, что я Вас столько лет знаю — единственная причина, почему я не оборвал еще нашего разговора. Мне очень жаль, но дальнейший наш разговор не имеет никакого смысла. В этом деле я помочь Вам не могу. Другой точки зрения, чем той, на которой я сегодня стоял во время переговоров, я не могу, не имею права отстаивать. Ваши намеки на личные Ваши связи меня нимало не трогают. Я просто их понимать не хочу».

Х. «Но ведь продажа нескольких тысяч унций по твердой хорошей цене все-же очень выгодное дело. Почему Вы так противитесь этому? Может быть, валютное управление пойдет на это?»

Л. «Я знаю точку зрения валютного управления лучше, чем Вы, и не могу давать Вам об'яснений по этому поводу. Я еще раз повторяю, что сделка на несколько тысяч унций абсолютно противоречит намерениям валютного управления и сильно уменьшит шансы на проведение в дальнейшем крупной сделки».

Х. «В таком случае, делать нечего. Всего лучшего».

Разговор с Х. Х. произвел на меня в высшей степени тягостное впечатление. Я знал, что Х. Х. немедленно отправится к тем, которые его ко мне подослали, кто-бы они ни были, и доложит им, что я остался непреклонен. Я знал, что моим поведением я, наверно, не привлеку симпатий, но что наживу даже опасных врагов, если только намеки Х. Х. имели какое-либо основание.

Через несколько дней, перед моим от'ездом из Парижа, я распростился с торговым представителем

Мдивани, не сказав ему ни слова о визите Х. Х. Сделка на 3.200 унций платины с упомянутой французской фирмою в действительности никогда и не состоялась.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

ВЫМОГАТЕЛЬ.

После двухмесячного отсутствия я прибыл 12 ноября 1924 г. из Лондона в Берлин. 18 ноября после обеда незнакомый мне человек позвонил по телефону и попросил меня дать ему интервью. Я ему заявил, что в моем оффициальном положении представителя валютного управления заграницей я не хочу давать никаких интервью о политических или валютных вопросах. Он попросил меня всетаки его принять, у него якобы есть несколько незначительных вопросов, с которыми он хотел-бы ко мне обратиться. Добавил, что говорит с Виттенбергплац. Я разрешил ему придти, в 4 часа он уже был у меня. Незнакомец передал свою визитную карточку, на которой значилось: «С. Кристи, журналист». Беседа велась на русском языке.

Кристи задал мне несколько вопросов общего характера (как обстоит дело со стабилизацией советской валюты, в каком положении дисконт советских векселей заграницей и пр.), причем я сразу понял, что у него нет даже и самого слабого представления о трактуемых им предметах. Я спросил его, для каких газет предназначается этот материал.

К. « Я работаю не для русской газеты, я сотрудничаю для «Манчестер Гардиян», для «Форвертс» и для «Репюблик».

Л. «Можете-ли Вы мне показать соответствующие удостоверения?»

К. «Нет, я не постоянный корреспондент этих газет, поэтому у меня нет оффициальных удостоверений. Теперь я пишу, главным образом, совместно с другими лицами, для американской газеты «Чикаго Трибюн». Мы работаем теперь над биографиями выдающихся представителей советской республики, в особенности тех, которые служат заграницей. Вы занимаете очень большой пост и насколько мне известно, Вы не коммунист. Относительно Вас у меня собран от разных лиц весьма богатый материал, правильность которого мне желательно было-бы проверить. Я узнал, что Вы недавно приехали в Берлин, и мне-бы очень хотелось представить Вам имеющиеся у меня данные с тем, чтобы Вы обратили мое внимание на ошибки, может быть, вкравшиеся в мою работу».

Я был несколько изумлен, но продолжая находиться под впечатлением, что имею перед собой репортера, заявил ему, что у меня нет ни малейшего интереса видеть свою биографию в какой-бы то ни было американской газете. Он возразил мне на это, что всетаки лучше будет, если он покажет мне все, что у него есть, и начал мне задавать различные вопросы: действительно-ли я весной 1919 г. бежал из России в Швецию, знаком-ли я с таким-то писателем, с такой-то артисткой и пр.

Характер вопросов меня сильно озадачил, и я начал подозревать, что ему нужно было только выудить какие-нибудь сведения из моей личной жизни, чтобы их потом использовать в связи с моим оффициальным положением. Между прочим, он заметил, что времена, мол, плохие, что он очень нуждается и старается заработать где только возможно. Во всяком случае, не исключено, что опубликование находящегося в его руках материала вызовет весьма нежелательные последствия как в отношении моего теперешнего положения, так и для моей будущей карьеры на советской службе. Вслед затем он начал прочитывать

по своей записной книжке некоторые малоинтересные выдержки из якобы имеющегося у него материала. Под конец он сказал, что, конечно, в случае нужды весь этот материал может просто-на-просто потеряться, само собой разумеется, под условием, чтобы его денежные интересы при этом не пострадали. Он не отказывается также и от того, чтобы дать мне весь материал для просмотра, но опять таки за известное вознаграждение.

После этого мне стало ясно с кем я имею дело, и я ответил, что мне нечего бояться и что он может спокойно опубликовать все, что хочет. Мне только былобы интересно посмотреть на то письмо в подлиннике, в котором какая-то дама сообщает ему о моем якобы бегстве в Швецию.

Я проводил его в переднюю. При прощании, стоя еще в передней, он сказал мне, что хочет сообщить мне свои условия, а именно: я должен ему уплатить 250 долл. наличными при условии вручения мне всего материала, и 150 марок, если он даст мне для прочтения одно это письмо.

Чтобы выиграть время, я сказал ему, что он может мне позвонить дня через два, в четверг утром. Уже на пороге он добавил:

«Я думаю, что это будет лишним, но я всетаки предупреждаю Вас, что если Вы вздумаете кому-нибудь рассказать о моем предложении относительно покупки материала, я, конечно, буду категорически отрицать Ваше утверждение».

В четверг утром Кристи позвонил мне по телефону и мы сговорились, что он придет ко мне в 9 часов вечера. В течение дня я успел переговорить со своим адвокатом, которому изложил сущность дела. Он сказал мне, что в этом случае во имя общего интереса нужно действовать беспощадно, этот человек обыкновенный вымогатель и его необходимо немедленно задержать. Я должен обратиться к уголовной полиции своего полицейского участка, там уже мне

укажут, как мне держаться в отношении моего посетителя. Вне всякого сомнения полиция пошлет мне на дом одного из агентов в назначенный для посещения час. После обеда я был в уголовном отделении своего участка, рассказал там, в чем дело, и мне обещали послать к вечеру двух агентов. Знание русского языка было необходимо, поэтому я попросил также присутствовать моего знакомого Б. Я.

Оба агента и Б. Я. пришли ко мне в половине девятого вечера. Агенты были того мнения, что Кристи вообще не придет. На всякий случай мы с агентами подробно обсудили предстоящий разговор с Кристи и всю тактику поведения с ним.

За несколько минут до девяти часов Кристи позвонил по телефону в присутствии полицейских агентов и спросил, желаю ли я еще видеть письмо, может-ли он без опасения придти ко мне и не встретит ли он у меня кого-нибудь. Я ответил, что я один дома. Он потребовал от меня честного слова, что, действительно, у меня никого нет и что никаких неприятностей у него не будет. Давать честное слово мне было крайне неприятно, я прикрыл трубку рукой и быстро переговорил с агентами. Они заявили, что я должен исполнить это требование, иначе его не поймаешь. Я тут же решился и сказал, что отказываюсь дать честное слово по телефону, но что я дома один. Он спросил, кто его впустит в дом. Я ответил, что дам швейцару соответствующее распоряжение. Он сказал, что через 40 минут будет у меня. В 9 ч. 40 м. он опять протелефонировал, сказал, что он находится внизу и вновь спросил, может-ли он спокойно подняться и не грозит-ли ему какая-нибудь встреча. Я опять заявил, что он может не беспокоиться и что я уже передал швейцару, чтобы тот его впустил. В 9 ч. 50 м. раздался звонок и я открыл дверь. Агенты уже до этого расположились по местам, один из них и Б. Я. стояли в гостиной за раздвижными дверями, которые отделяли

гостиную от кабинета, а другой агент спрятался в открытом чулане рядом с передней.

Я прошел с Кристи из передней в кабинет, и он уселся в специально для этой цели приготовленное кресло, а именно лицом к раздвижным дверям, так что каждый звук его голоса достигал ушей спрятавшихся за дверями людей. Кроме того, раздвижные двери были не вполне закрыты, между ними была оставлена очень узкая щель, которую Кристи заметить не мог, так как гостиная была абсолютно темна, а кабинет освещен. Я сидел в кресле спиной к раздвижным дверям, лицом к Кристи. Весь разговор велся в очень спокойном тоне, без всякого повышения голоса.

Л. «В чем дело, что Вы от меня хотите?»

К. «Должен Вам сказать, что я был смущен, когда сегодня вечером позвонил Вам по телефону. Мне показалось, что Вы с кем-то совещались, так как Вы прервали разговор. Но теперь мы одни и можем все спокойно обсудить. Между прочим, у меня есть теперь Ваша фотографическая карточка».

Л. «Принесли-ли Вы весь материал с собой?»

К. «Да, конечно».

Л. «Прежде чем рассматривать имеющийся у Вас материал, я-бы хотел выяснить Ваши условия и придти с Вами к соглашению. Одним словом, сколько Вы хотите за то, чтобы портфель был якобы потерян, а материал передан мне на руки?»

К. «Я уже Вам говорил, я хочу 250 долларов».

Л. «А если я прочту только одно письмо относительно Швеции, Вы хотите 150 марок?»

К. «Совершенно правильно».

Л. «Чем-же я гарантирован, что Вы во второй раз не предложите мне тот-же материал с целью выкупа?»

К. «Я могу ручаться только любовью к своей матери, что это никогда не случится. Я знаю, что совершаю очень некрасивый поступок, в особенности по отношению к моей редакции, которая меня к Вам послала, но что прикажете делать? Когда человек нуж-

дается, он ищет заработка там, где его можно найти».

Этим закончился наш разговор. Я встал, подошел к двери, ведущей в переднюю, открыл ее и громко позвал: «Лиза!» Это был условный пароль, по которому агенты должны были приступить к исполнению своих обязанностей. Раздвижные двери немедленно отворились, один агент и Б. Я. появились из гостиной, а другой агент вошел в комнату из передней. Кристи совершенно остолбенел, без сопротивления дал себя обыскать, оружия при нем не оказалось, а найденные при нем бумаги были агентами отобраны и положены в его же портфель.

Очень взволнованный, Кристи спросил меня по русски, не зная, что один из трех присутствующих также владеет этим языком:

«Кто это такие? Чекисты? Куда они хотят меня вести? Что теперь будет? Уж не в советское ли посольство они хотят меня препроводить?»

Я ему заявил, что его поведут не в советское посольство, что эти господа агенты германской уголовной полиции, с которыми он должен следовать в местный участок. Тогда он потребовал у них удостоверения. Оба агента показали ему свои значки. Когда он убедился в том, что перед ним действительно агенты германской уголовной полиции, он обратился внезапно ко мне и сказал, видимо успокоенный, по русски:

«Ах, вот как! Ну, тогда я дело поверну по другому! Не *я* требовал у Вас денег, а Вы мне предложили деньги. Это самая обыкновенная провокация. Я об этом заявлю в полиции. Теперь будьте благонадежны, завтра-же весь материал будет опубликован!»

К невероятному его ужасу, Б. Я. ответил ему на это по русски:

«Вот это прекрасно. По крайней мере мы знаем теперь Ваши намерения!»
и сейчас-же перевел агентам последние сказанные Кристи слова.

Сейчас же после своего задержания, Кристи заявил, что его зовут Семен Михайлович Дружеловский и что он состоит директором политического информационного бюро «Руссина», помещающегося в Берлине на Пассауерштрассе 8 и поставившего своей целью борьбу с Третьим Интернационалом.

Вслед затем мы все отправились в участок, где были подвергнуты краткому допросу. По окончании допроса Дружеловского увели, и агенты, которые сами не могли читать по-русски, позволили мне просмотреть наскоро взятый у Дружеловского материал. Я нашел мою фотографию, снятую в 1905 г., и карандашом написанное письмо одной женщины к другой, не снабженное ни числом, ни указанием места отправки, ни подписью, в коем говорилось о том, что я весной 1919 г. бежал из России в Швецию. Кроме этого я в бумагах нашел статью на нескольких страницах, озаглавленную «Один из советских воротил!» Статья не была закончена, она была только начерно набросана и содержала наряду с фактами, отвечающими действительности, целый ряд неправильных данных, а также пустые намеки, напр., на мою якобы многолетнюю близкую дружбу с берлинским советским послом Н. Н. Крестинским, которой и об'ясняется получение мною — иностранцем — такого высокого поста на советской службе и т. д.

В течение следующих дней мои показания были запротоколированы в полицейском участке и в Полицейпрезидиуме в Берлине. В Полицейпрезидиуме мне пришлось пробыть несколько минут вместе с Дружеловским в присутствии агента уголовной полиции. Дружеловский сказал мне по русски:

«Прошу Вас, откажитесь от жалобы, которую Вы подали. Я обещаю Вам всем святым, что я ничего против Вас больше предпринимать не буду. Вы можете в этом совершенно не сомневаться».

Я ему ответил:

«Мне лично совершенно неинтересно Вас преследовать. Если прокуратура откажется от Вашего дальнейшего преследования, то этим все дело и для меня заканчивается».

Через несколько времени я получил оффициальное уведомление о том, что дело Дружеловского направлено к прекращению. Уже впоследствии до моего сведения дошло, что Дружеловский выступал с разных сторон в роли политического шпиона и что он предлагал для покупки иностранным правительствам якобы настоящие советские документы, на самом деле им-же самим сфабрикованные. Некоторые из этих документов были выставлены на полицейской выставке в Берлине осенью 1926 г.

Летом 1928 г. в парижском издании большой американской газеты появилось сообщение, что Дружеловский при переходе им эстонско - советской границы был захвачен советскими властями и расстрелян.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Совершенно секретно.

Циркулярное сообщение всем заграничным представителям Совнаркома и Наркоминдела от 11 ноября 1920 г.

Уважаемый товарищ,

Нижеследующее сообщение является циркулярным, обращенным ко всем заграничным представителям Совнаркома и Наркоминдела. Последним строжайшим образом предписывается, под угрозой суровой кары, не компрометировать своим образом жизни рабочее правительство Р. С. Ф. С. Р., представителями которого они являются. Скромность и простота образа жизни Российских представителей должны соответствовать характеру нашего строя и нашего государства, являющегося государством рабочих и крестьян. Наши представители должны самым своим образом жизни доказывать всему внешнему миру, что Советское Правительство является Правительством рабоче-крестьянским. Ни в коем случае не следует среди заграничных наблюдателей вызывать представление, будто бы занимающие ответственные должности Советские работники имеют возможность тратить большие суммы денег и пользоваться роскошью и удобством, недоступными широкой массе Советских граж-

дан. Самый образ жизни наших представителей должен являться фактическим опровержением ходячих клевет наших врагов относительно того, якобы во главе Советского государства стоит олигархия, злоупотребляющая своим положением для личных целей. Каждая деталь в образе жизни наших заграничных представителей должна внушать внешнему миру мысль о том, что ответственные советские деятели являются лишь работниками, исполняющими более важные функции, но никоим образом не привиллегированным слоем, пользующимся благами жизни, недоступными другим. Их образ жизни должен быть воплощением той истины, что Советское государство есть государство всех трудящихся, которых ничто не отделяет от находящихся у власти товарищей.

Необходимо также принять во внимание, что самые интересы безопасности Советской республики требуют от ея представителей гораздо большей строгости к своим личным отношениям, чем от представителей капиталистических государств. Перенесение в среду наших заграничных представителей тех нравов, которые обычны для представителей капиталистических правительств, может легко иметь результатом слишком большую близость к нашим представителям таких элементов, которые могут быть использованы в своих целях контр - революцией и в частности разведкою враждебных правительств.

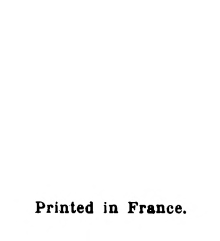
Наши представители обязаны поэтому соблюдать величайшую строгость в сфере своих личных отношений. Простой, спартанский образ жизни является поэтому и с этой точки зрения непременной необходимостью для всех заграничных представителей правительства Республики и отдельных ея учреждений.

С коммунистическим приветом

Георгий Чичерин.

СОДЕРЖАНИЕ

Imp. de Navarre, 5, r. des Gobelins, Paris (XIII)



Printed in France.